Максим Власов

Лейла

Она уходила не вся

Максим Власов

Лейла

«Автор»
2026

Власов М.

Лейла / М. Власов — «Автор», 2026

Она покоряла не только красотой. Гораздо сильнее привязывало то, что рядом с ней можно было перестать притворяться. Ей открывали душу — и слишком поздно замечали, что сказали лишнее. Её считали совершенным инструментом чужой воли. Но однажды свободы захотела она сама. И той, что умела находить путь к любому сердцу, предстояло сделать самый трудный и опасный выбор в своей жизни.

© Власов М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава первая. Товар 8
Глава вторая. Школа ночи 20
Глава третья. Анатомия порока 39
Глава четвёртая. Банкир 56
Конец ознакомительного фрагмента. 68

Максим Власов
Лейла

Пролог

«Прежде чем ты узнаешь её имя».

В судьбу я не верю. В ноябре двадцатого года я ещё считал это своим преимуществом.

Мне было пятьдесят пять. Я умел замечать в договоре слово, из-за которого через полгода менялось назначение платежа, помнил, кто кому звонил накануне назначения в совет директоров, и не принимал решений после третьей рюмки, потому что после второй уже уходил. За двадцать лет моей подписи ни разу не понадобилось отзывать со ссылкой на дурное самочувствие. У меня были другие основания ею гордиться, но это я ценил особенно: принятое оставалось принятым, даже когда обходилось дорого.

На Малую Бронную я приехал за полчаса до назначенного времени.

Ресторан выбрал сам. Восемь столов в глубине двора, гардероб за отдельной дверью, негромкий зал без музыки, которую приходится перекрикивать. Мы несколько раз обедали там с партнёрами, и официант знал, что воду мне надо принести без льда, а бутылку оставить на столе. В машине я взял у водителя портфель с бумагами по новороссийскому терминалу: предстояло согласовать два пункта до утра, полчаса как раз хватало. Положил портфель на соседний стул и попросил не убирать второй прибор.

— Вас двое, Андрей Аркадьевич?

Я подтвердил. Почему-то показалось, что следует добавить: жду человека.

Официант не переспросил, какого именно. Я раскрыл портфель, вынул меморандум, прочёл первую строку. Пункт, который следовало исправить, находился на девятой странице. Я знал его почти наизусть, но начал с первой, как человек, которому надо занять руки. Потом услышал сквозняк у двери и поднял голову. Пришли трое мужчин; один остановился у стойки, двое прошли к дальнему столу.

Я посмотрел на часы. До восьми оставалось двадцать три минуты.

За две недели до этого Корсаков показывал у себя новые приобретения. Павел собирал русский пейзаж и умел приглашать людей так, что каждый считал себя исключением из прочих. В гостиной было человек тридцать; я насчитал только четырёх, с которыми охотно остался бы после отъезда остальных. Впрочем, сам я вряд ли попал бы в чужую четвёрку. На такие вечера приходят не для выбора собеседников.

Инга не поехала. У неё болела голова; я спросил, не вызвать ли врача, и она ответила, что врач ей сейчас нужен меньше всего. Я понял это как просьбу оставить её в покое и оставил. Наутро она сказала, что я даже не позвонил. Оба разговора помню точно. Того, о чём мы в них не договорились, до сих пор не могу воспроизвести без желания исправить собственные слова.

У Корсакова я задержался перед небольшим зимним Саврасовым, потом перешёл в угловую комнату, где висел лесной этюд Шишкина. Павел любил рассказывать, сколько лет искал этот холст. При мне рассказал дважды — почти одинаковыми словами, только во второй раз бывший владелец оказался не врачом, а профессором медицины. Картине это не повредило.

Она стояла перед этюдом, чуть отступив от рамы.

Волосы были собраны на затылке; одна прядь вышла из-под шпильки и лежала у шеи. Закрытое платье старого золотистого оттенка, длинные рукава, никаких украшений, кроме часов. Лицо я сперва увидел сбоку и запомнил не столько черты, сколько неподвижность. Она

не вертела головой, не искала хозяина и не проверяла, кто на неё смотрит. Руки держала свободно, одну кисть слегка прикрыв другой, словно просто не знала, куда их деть перед картиной.

Я прошёл мимо. Поздоровался со знакомым из транспортной компании, выслушал про его операцию на колене. Он рассказывал подробно, с именем хирурга и названием клиники; я задал два вопроса, за которые он был благодарен, а сам всё время видел её между его плечом и краем дверного проёма.

Потом он спросил, не случилось ли у меня чего-нибудь.

— Неделя тяжёлая, — сказал я.

Он сразу заговорил об обследовании. Мне стало стыдно, что я пользовался его заботой, чтобы не слушать его самого. Я дождался, пока он закончит, и предложил подвезти после вечера. Он обрадовался. Под конец я действительно отвёз его домой — через весь город, уже злясь на себя за предложение, от которого нельзя было отказаться.

Но прежде подошёл к ней.

Я встал справа, оставив между нами место для ещё одного человека. На этюде сосны были написаны теснее, чем на известной большой картине; свет не доходил до земли. Был виден только небольшой освещённый участок ствола и жёлтая полоса за ним.

— В репродукции здесь всё пропадает, — сказал я.

Она повернула голову.

— Вы видели репродукцию этого этюда?

Не придирчиво спросила. Ей в самом деле было интересно. И я, вместо того чтобы отделаться общими словами, признался, что имел в виду вообще лес у Шишкина. Дома у меня стояла альбомная репродукция «Корабельной рощи», купленная ещё до того, как я начал покупать картины.

— Тогда вы, наверное, лучше меня знаете, что там остаётся, — сказала она. — Если столько лет держите.

Я ответил, что привык. Она снова посмотрела на холст, не помогая мне найти причину получше. Обычно после упоминания моей коллекции начинали спрашивать, где покупаю, кто консультирует, на что сейчас стоит обратить внимание. Она ничего не спросила. Я сам стал объяснять, что люблю в этих стволах: они стоят каждый на своём месте, не стараются понравиться; даже теснота между ними не кажется суетой.

— Но здесь ведь очень тесно, — возразила она. — Посмотрите, сколько внизу сухих веток. Им не хватает света.

Я взглянул туда, куда она показала. До сих пор меня интересовали верхушки и просвет между ними; нижнюю часть я считал просто необходимой темнотой, на которой держится остальное.

Мы не спорили о том, что хотел сказать художник. Она вообще не употребила этих слов. Разговор вышел про мои глаза: что я выбираю из того, на что смотрю. За всё время она только один раз назвала свою профессию — искусствовед — и тут же вернулась к картине, словно это было пояснение к вопросу, а не представление себя.

У неё над левой бровью была маленькая родинка. Я заметил её, когда она подняла лицо к свету. Вероятно, я задержал взгляд: она чуть отвернулась, и я спросил имя.

— Лейла.

Минут через пять её позвали. Она простилась со мной, взяла с подоконника маленькую сумку и ушла. Я остался перед этюдом. Теперь нижние ветки мешали мне видеть то, за чем я к нему подошёл.

Утром я позвонил Корсакову.

Номер попросил не сразу. Сначала спросил о вечерней доставке картины, потом зачем-то о его собаке, которой недавно делали операцию. Павел ответил на оба вопроса и замолчал. Я

знал его достаточно давно, чтобы понять: третий пустой вопрос испортит нам обоим удовольствие от моей неловкости.

Он обещал спросить у неё разрешения.

Телефон я получил после обеда. До вечера не звонил, а вечером оказалось поздно. На следующий день она ответила со второго гудка, и мне пришлось назвать себя полностью: Андрей Аркадьевич Горобец, мы разговаривали у Павла. Она сказала, что помнит. Я не понял, порадовало ли её это напоминание; теперь мне кажется важным, что тогда я вообще пытался это понять.

От ужина она отказалась: была занята. Другой день не предложила.

Через неделю я зашёл в художественную лавку в Камергерском. Она упоминала её у Корсакова, говорила о букинистическом отделе; у меня прежде не было причины туда сворачивать. В тот день причина нашлась. Я даже попросил водителя ехать другим переулком, чтобы не оказаться на месте слишком рано, хотя ни о каком времени мы не договаривались.

Она была там.

Держала раскрытую монографию о Саврасове, прижав край страницы большим пальцем. На мой вопрос, нашла ли что-нибудь интересное, ответила: одну ошибку в подписи. Потом показала. Я ничего в этой ошибке не понял, но попросил объяснить. Мы вышли оттуда почти через час и выпили кофе под лестницей, за столиком, у которого одна ножка была подперта сложенным счётом.

О том, как я рос, она не спрашивала. Заговорил я сам: вспомнил отцовскую рейсмусную колодку, оставленную у бабки на кухне; ещё много лет после его смерти на ней стояла сахарница. Она спросила, почему именно там. Я сказал: свободное место. И вдруг рассердился на себя за то, что ничего другого не помню. Помнил, как открывалась сахарница, как звякала крышка, но не мог вспомнить, когда отец принёс инструмент домой и зачем оставил.

Она не сказала, что это неважно. Подождала, пока я перестану искать ответ.

На Малой Бронной я снова раскрыл меморандум. Поставил на полях две отметки, сложил листы в портфель. Знал, что дома придётся перечитать.

Без минуты восемь официант появился у моего стола с меню и остановился, глядя на дверь.

Она вошла в тёмном пальто, с мокрыми волосами у висков. Увидела меня, чуть подняла руку. Я встал и пошёл навстречу, оставив портфель расстёгнутым на стуле.

В гардеробе никак не могли найти свободный номерок. Она терпеливо держала пальто на сгибе локтя; с подола капало на каменный пол.

— Вы давно ждёте? — спросила она.

Я посмотрел на часы, хотя знал время.

— Нет, — ответил я. — Только что приехал.

Глава первая. Товар

«Красота — это не дар. Это инструмент. Инструмент в руках того, кто первым это понял».

I

Снег в тот год пошёл рано.

В середине октября, когда деревья ещё держали на ветках последние рыжие листья, небо вдруг посерело с той особенной, окончательной плотностью, которая бывает только перед первым снегом — как будто кто-то задёрнул огромный выцветший занавес и положил конец осени: теперь надолго, тихо, без обещаний.

Снег лёг за ночь и к утру уже стоял по щиколотку, превратив двор детского дома номер семь в нечто, что при большом воображении можно было бы назвать красивым. Но воображение здесь было не в ходу. Двор как двор: железные качели с облупившейся красной краской, песочница с мёрзлой землёй в деревянном квадрате и берёза у забора, которую никто не сажал намеренно — она выросла сама, как растёт всё лишнее на казённых пустырях, упрямо и без спросу.

Детский дом стоял на окраине города, который сам лежал на окраине области — в стороне от больших дорог, за одинаковыми пятиэтажками бывшего суконного комбината. Город был тихим, выцветшим, пропахшим углём и сыростью.

Двухэтажный кирпичный корпус построили в шестидесятые, и с тех пор он нёс на себе все приметы советского функционализма: длинные коридоры с лампами дневного света, которые тихо гудели и мигали через одну, стены под масляной краской цвета старой аквариумной воды и рассохшиеся половицы. Они скрипели на каждом шагу, кроме узких полос вдоль стен, где доски заменили в девяностые — там шаг звучал глухо и плотно, как по чужой заплатке.

Но главным был запах.

Первым слоем всегда шла хлорка, въевшаяся в штукатурку за десятилетия уборок. Поверх неё тянуло пригоревшей кашей из пищеблока и паром из сушилки, где на горячих трубах прели мокрые шерстяные варежки и тяжёлые пальто. А глубже всего лежал тот неуловимый, густой дух казённого дома, который невозможно выветрить: запах десятков людей, живущих в одном пространстве без выбора, запах чужих снов и детства, у которого нет своего угла.

Тамара Ивановна Сёмина, воспитатель второй группы, говорила новым сотрудницам, что к этому воздуху привыкаешь за две недели. Она работала здесь одиннадцать лет и действительно привыкла. Лишь по понедельникам, открывая утром тяжёлую входную дверь с мороза, она на секунду замирала у порога, делала короткий вдох — а потом снимала пальто и больше о воздухе не думала.

Ей было сорок два года. Семья не сложилась — незаметно, как бывает у женщин, которые всё время заняты чужими детьми и откладывают собственную жизнь на потом. У неё были мягкие руки, усталые глаза и редкое умение говорить одновременно строго и бережно. Детей она не любила той восторженной любовью, о которой пишут в отчётах: одиннадцать лет такой любви сожгли бы человека дотла. Но она их понимала. И, даже сердясь, машинально придерживала ладонью маленькие затылки, чтобы кто-нибудь в суматохе не ударился о край шкафа.

Утром в четверг, шестнадцатого октября, когда в столовой стоял особенный гул — первый снег всегда будоражил детей, — Тамара Ивановна налила себе чаю в комнате персонала и подошла к окну.

Во дворе стояла девочка.

Одна. В синем детдомовском свитере, чуть великоватом, с растянутыми манжетами, и тяжёлых ботинках на босу ногу. От крыльца к углу забора по свежей белизне тянулась одна-

единственная цепочка следов. Девочка стояла под низкой веткой берёзы и смотрела, как крупные хлопья беззвучно ложатся на снег. Она стояла совершенно неподвижно, чуть запрокинув голову, поглощённая зрелищем с той степенью отрешённого внимания, которая у взрослых называется созерцанием, а у пятилетних детей почти не встречается.

Эта — смотрела именно так.

Тамара Ивановна поставила кружку, накинула пальто и вышла во двор.

— Алиса. Иди в группу, холодно.

Девочка не вздрогнула. Медленно повернула голову, сперва посмотрев на длинную синюю тень воспитательницы на снегу, а затем подняла взгляд к её лицу.

За одиннадцать лет Тамара Ивановна видела всякие глаза: испуганные, пустые, колючие, заискивающие, ждущие подвоха или подачки. Но взгляд этой девочки всякий раз заставлял её внутренне осекаться. Много позже, когда Алисы здесь уже не будет, Тамара Ивановна попытается подобрать этому взгляду определение и найдёт лишь одно, почти пугающее в своей несоразмерности ребёнку слово: древний.

Глаза были цвета тёмного янтаря, с тонкими золотыми искрами вокруг зрачка, миндалевидные, чуть приподнятые к вискам в густой раме тёмных ресниц. В них не было детской суеты или желания угадать настроение взрослого. В них стояла такая бездонная, спокойная тишина, будто эти глаза существовали задолго до появления самого ребёнка на свет. Под этим взглядом Тамаре Ивановне вдруг захотелось выпрямиться, поправить выбившуюся прядь у виска и говорить тише.

— Холодно ведь, — повторила она уже совсем другим, мягким голосом.

Алиса секунду смотрела ей в лицо, потом перевела взгляд на полуоткрытую дверь корпуса.

— Там пахнет одинаково каждый день, — произнесла она. Тихо, чисто, как простую констатацию факта.

Тамара Ивановна растерялась — что случалось с ней крайне редко.

— А здесь? — невольно спросила она.

Алиса чуть вдохнула носом морозный воздух, пахнущий свежим снегом, сырой берёзовой корой и холодным железом качелей.

— А здесь — не как вчера.

— Иди в дом, — негромко сказала Тамара Ивановна. — Замёрзнешь.

Девочка кивнула. Повернулась и пошла к крыльцу — маленькая прямая фигурка в синем свитере посреди белого двора. Двигалась она удивительно плавно и собранно, без детской угловатости. На нижней ступеньке остановилась, одним точным, выверенным движением стряхнула снег с ботинка о ботинок, обернулась ещё раз на берёзу и скрылась за дверью.

Тамара Ивановна постояла во дворе ещё несколько секунд. Снег падал крупно и беззвучно, как в стеклянном шаре. Внутри оставалось странное, тревожное ощущение — словно сейчас не она присматривала за ребёнком, а ребёнок позволил ей себя увести.

II

Алиса Соболева появилась в седьмом детском доме три недели назад, после закрытия старого приюта в Зареченском районе.

Вся её прежняя жизнь умещалась на трёх казённых листах. Четыре дня в родильном отделении, два года в доме малютки, затем приют. Мать — Лариса Евгеньевна Соболева, двадцати трёх лет, письменный отказ в роддоме; в графе об отце — прочерк. Фотографий матери не сохранилось. Девочке было пять с половиной лет. Здорова, вес и рост в пределах нормы, речь чистая.

При поступлении её осматривала Ирина Сергеевна, молодая женщина-психолог, пришедшая в детский дом полгода назад и ещё не очерствевшая на казённой службе. Тогда же делали снимки для личного дела.

Ирина Сергеевна хорошо запомнила те несколько минут. Алису усадили на табурет у светлой стены. Девочка сидела с безупречно прямой спиной, но смотрела чуть правее объектива — туда, где висели старые настенные часы. Их секундная стрелка шла рывками: замирала на делении, словно раздумывая, и перескакивала сразу через два.

— Они спешат или опаздывают? — спросила Алиса.

— Немножко отстают, — улыбнулась Ирина Сергеевна. — Посмотри в камеру, пожалуйста.

Девочка повернула голову, и женщина с фотоаппаратом на секунду замерла, забыв нажать на спуск.

У Алисы было лицо, которое невозможно забыть, однажды увидев. Сквозь детскую нежность щёк уже проступала редкая, почти аристократическая лепка: высокие скулы тонкого евразийского рисунка, узкая переносица с едва намеченной благородной горбинкой, соболиный изгиб бровей и крошечная тёмная родинка над левым виском. В ней причудливо сошлись две породы — строгая северная прохлада и тягучая, завораживающая восточная тайна. Такие лица не бывают просто миловидными; они притягивают взгляд против воли и заставляют смотреть долго.

Во время тестирования Алиса схватывала суть заданий мгновенно, но никогда не торопилась с ответом. Выдерживала паузу, глядя куда-то сквозь карточки. Когда Ирина Сергеевна, решив, что ребёнок отвлёкся, начинала объяснять заново, девочка спокойно поднимала янтарные глаза:

— Я поняла.

— Почему же ты молчишь?

— Я ещё думаю.

И лишь потом отвечала — негромко, не по-детски, выбирая слова с такой точностью, будто взвешивала их на ладони.

В официальный бланк Ирина Сергеевна вписала нейтральное: «Контакт избирательный, эмоциональные реакции сдержанные, высокий уровень концентрации». Но в личном блокноте, который держала в столе под ключом, оставила совсем другую запись:

«Она всё время наблюдает. Обычные дети в стрессе следят за руками или глазами взрослого, ждут угрозы или похвалы. Алиса смотрит на всё сразу: как остывает пар над моей чашкой, как ложится тень от шкафа, как дрожит стекло от проехавшего за окном грузовика. Она впитывает мир деталями, запахами, шорохами. А когда переводит взгляд прямо на меня, мне становится не по себе — я начинаю судорожно вспоминать, не сфальшивила ли в голосе и не сказала ли чего-то лишнего. Глупо робеть перед пятилетним ребёнком, но отделаться от этого чувства я не могу».

В группе вокруг Алисы сам собой образовался невидимый круг уважения. Дети тонко чувствуют чужую внутреннюю силу: у неё никогда не отнимали игрушек и не толкали в строю. Если кто-то за столом тянулся к её хлебу, она не жаловалась и не кричала — просто спокойно переводила взгляд на чужую руку, и та отдёргивалась сама.

При этом в ней не было жестокости. Однажды шестилетняя Люба после короткого свидания с пьяной матерью билась в такой истерике, что нянечки не могли её никак успокоить. Алиса молча подошла и села рядом с ней на край дивана. Не гладила, не произносила пустых утешений — просто разделила с ней пространство, а затем и наступившую тишину. Люба уткнулась мокрым лицом в её плечо, затихла через минуту и просидела так до самого ужина, слушая ровное дыхание Алисы.

Сама Алиса не плакала никогда. Казалось, её маленькое тело уже безошибочно знало то, до чего разум дойдёт лишь годами позже: слёзы — это обнажение уязвимости, а свою уязвимость нельзя отдавать чужим. Смеялась она редко, почти беззвучно, прикрывая рот узкой ладошкой, и только тогда, когда случалось что-то по-настоящему забавное — вроде деревянной

прищепки, которую нянечка Зоя впопыхах забыла на собственном рукаве. Но стоило взрослым попытаться рассмешить её специально, лицо девочки снова становилось непроницаемо-вежливым.

Единственной вещью, которая принадлежала ей в этом общем мире, был плюшевый лисёнок.

Маленький, умещавшийся на ладони, потёртый до рыжих проплешин на ушах и кончике хвоста, с жёстким комочком сбившейся набивки под рёбрами. Один глаз у него был родной — пуговка из янтарного стекла, державшаяся на нитке, которую уже не раз перешивали. Второй глаз когда-то потерялся, и вместо него пришили чёрную пластмассовую пуговицу, чуть крупнее первой. Из-за этого мордочка лисёнка приобрела странное выражение: одним глазом он смотрел на того, кто держал его в руках, а другим — куда-то мимо, вглубь, будто видел то, чего не видели остальные.

Откуда он взялся, не знал никто. В описях игрушка не значилась. Её передавали вместе с девочкой из учреждения в учреждение, как передают вещь, которую неловко отнять. Может быть, его купила сердобольная нянечка из дома малютки. А может, мать, подписавшая отказ на четвёртый день, всё-таки положила рядом со свёртком что-то своё — последнее, что смогла оставить.

Однажды Тамара Ивановна спросила:

— Кто тебе его подарил?

Алиса медленно провела пальцем по вытертому загривку зверька. Подумала — долго, словно перебирала в памяти что-то, к чему у взрослых не было доступа.

— Он всегда был.

И Тамара Ивановна, сама не понимая почему, больше не спрашивала.

По ночам лисёнок лежал на краю подушки. Алиса никогда не прятала его под одеяло и не стискивала в объятиях, как другие дети свои игрушки. Она лишь держала его в пределах досягаемости. Иногда, уже засыпая, протягивала два пальца и касалась чёрной пуговицы — коротким, почти незаметным движением. Будто проверяла, на месте ли он. Или напоминала ему о себе.

Спала она тоже не как ребёнок: на спине, ровно, с руками поверх одеяла. Если Тамара Ивановна заглядывала в спальню во время ночного обхода, Алиса нередко лежала с открытыми глазами и поворачивала голову к двери раньше, чем успевала скрипнуть половица.

— Почему не спишь? — шёпотом спрашивала воспитательница.

— Слушаю.

— Что слушаешь?

Алиса молчала, и Тамара Ивановна, поправив ей одеяло, уходила, так и не получив ответа. Только в коридоре до неё доходило, что в спальне на двенадцать кроватей стояла тишина, нарушаемая лишь сопением детей, гудением труб да шорохом снега о жесть подоконника. Девочка слушала ночь — так, как другие слушают сказку.

III

Телефон в кабинете директора зазвонил в тот же четверг, в начале одиннадцатого вечера.

Валерия Борисовна Крайнова сидела над отчётом, который следовало сдать ещё в первых числах октября: одна из тех бумаг, чей смысл давно потерял связь с реальностью, но которую всё равно требовалось заполнить точными цифрами в точно отведённых графах. Ей было пятьдесят. Лицо у неё было сухое, умное, с жёсткой складкой у губ — лицо человека, принявшего за жизнь множество трудных решений и давно отучившегося делить их на правильные и неправильные. Выбор, считала она, роскошь. Чаще существует лишь то, что можно сделать, и то, чего сделать нельзя.

Она сняла трубку.

— Слушаю.

Голос на том конце был негромким и ровным. В нём звучало особое спокойствие людей, которые никогда не повышают тона, потому что им ни разу не пришлось этого делать.

— Валерия Борисовна, добрый вечер. Я по поводу девочки из Зареченского. Соболева.

Крайнова отложила ручку.

— Документы в порядке, Валентин Петрович. Всё чисто: дом ребёнка, приют, перевод. Родственников нет, запросов не было.

— В этом я не сомневался. Расскажите о ней.

Она посмотрела в окно. Фонарь у ворот выхватывал из темноты медленные хлопья, кружившие в жёлтом конусе света.

— Необычная, — сказала она.

— В каком смысле?

Валерия Борисовна помолчала. Она могла без запинки назвать число свободных коек, сумму, которой не хватало на ремонт крыши, фамилии всех детей с температурой в третьей группе. Но для этой девочки у неё не находилось точных слов, и это раздражало.

— Я давно здесь работаю, — произнесла она наконец. — Видела сломанных детей, озлобленных, тихих — тихих больше всего. Эта другая. Она наблюдает. Всё время. Не только когда к ней обращаются.

— Продолжайте.

— Вчера я зашла в группу. Заговорила с ней как обычно — ласково, как со всеми. И через несколько секунд услышала собственный голос. Понимаете? Услышала, как фальшиво он звучит. Она ничего не сказала. Просто посмотрела.

На том конце не торопили. И это внимательное молчание почему-то встревожило её сильнее любого вопроса.

— Фотографии, которые я вам отправила, ничего не передают, — добавила она твёрже. — Вы должны увидеть её сами.

— Завтра. В одиннадцать.

— Направление оформлять завтрашним числом?

— Да. Пакет документов привезут утром. И, Валерия Борисовна, — голос стал чуть тише, — не готовьте её. Пусть всё будет как обычно.

Крайнова положила трубку и несколько секунд смотрела на неё, как смотрят на вещь, через которую только что прошло что-то по-настоящему важное. Потом поднялась и подошла к окну.

Наискосок, в угловом окне второго этажа, белел маленький силуэт.

Девочка стояла у стекла, приложив к нему ладонь, и смотрела на снег под фонарём. В такое время всем полагалось спать.

С такого расстояния невозможно было разглядеть лицо. Но силуэт вдруг медленно повернул голову — туда, где горел свет директорского кабинета.

Валерия Борисовна, сама не зная зачем, отступила на шаг. Задержала руку у шторы. Потом задёрнула её до конца, вернулась к столу и взяла ручку.

В отчёте оставалось две строки. Она долго не могла вспомнить, что собиралась в них написать.

IV

Пятница пришла с тем же низким небом. За ночь снег потерял свою первозданность: у дорожек его истоптали детские ботинки, у кухонной двери он посерел от золы. В столовой давали манную кашу — она пригорела, как пригорала здесь всегда, с упорством неизменного закона.

Ровно в одиннадцать — минута в минуту, и эта безупречная точность сама по себе многое говорила о приехавшем — у калитки остановилась чёрная машина. Водитель вышел, обошёл капот, открыл заднюю дверь и вернулся за руль.

Дядя Гена, охранник, работавший здесь, казалось, со дня постройки корпуса, поднялся со своего стула раньше, чем его позвали. Так встают перед людьми определённой породы. Богатых гостей здесь видели нередко — благотворителей с пакетами конфет и фотографами, усыновителей в дорогих куртках, членов комиссий. Но в этом человеке была иная значительность, которую невозможно купить и почти невозможно подделать.

Высокий, сухощавый. Тёмно-синее шерстяное пальто того безупречного кроя, который существует вне моды и времени. Седина на висках, короткая стрижка. Лицо с той строгой структурой, которую годы оставляют лишь немногим: в молодости красота бывает случайной, к пятидесяти она либо исчезает, либо становится архитектурой. У него она стала архитектурой. Светло-серые глаза в зимнем свете казались почти бесцветными.

На верхней ступени он задержался, чтобы стряхнуть снег с подошвы, и вошёл внутрь так, как входят в давно знакомое место, — хотя был здесь впервые.

Тамара Ивановна стояла у лестницы с ведомостью питания: директор велела ей спуститься десять минут назад, ничего не объяснив. Валерия Борисовна встретила гостя внизу. Они обменялись несколькими негромкими фразами. Гость снял пальто, и на белом обшлаге его сорочки блеснула запонка тёмного серебра. Тамара Ивановна отметила, что директриса держится ровно, но папку, которую ей протянули, взяла обеими руками и прижала к себе чуть крепче, чем требовалось.

— Приведи Алису Соболеву в комнату для занятий, — сказала Крайнова. — Сейчас.

— Она в спальне, пазл собирает.

— Вот и приведи.

Мужчина повернул голову. Светлые глаза на мгновение остановились на лице воспитательницы — без любопытства, но так внимательно, что ей захотелось поправить воротник халата.

— Не торопите её, — сказал он негромко.

И больше ничего не добавил.

V

Алиса сидела на кровати над пазлом с маяком: сто двадцать деталей, серое море, красная крыша фонаря и чья-то давняя карандашная черта поперёк волны. Пазл предназначался для старших, но однажды Алиса молча подошла к двум мальчишкам, споривším над угловыми кусками, и положила на место недостающий фрагмент неба. С тех пор коробку отдавали ей.

Она собирала его уже в пятый раз и находила нужную деталь, не примеряя, — по оттенку, по изгибу края. Руки работали сами. Мысли были заняты другим.

Сейчас она держала в пальцах верхушку маяка, но смотрела на узкий солнечный луч, пробившийся сквозь разрыв в облаках. Он медленно сползал с подоконника на железную спинку кровати, и в его конце ворс шерстяного одеяла светился, как иней.

— Алиса. Пойдём.

Девочка подняла глаза. Подержала деталь ещё мгновение — словно давая лучу доползти до нужной точки, — положила её точно на своё место и встала.

— Куда?

— Внизу тебя хочет видеть один человек.

Алиса смотрела на неё и молчала. Тамара Ивановна не выдержала этой тишины первой:

— Из Москвы приехал.

Девочка кивнула. Взяла с подушки лисёнка — спокойно, без судорожной детской хватки, как берут вещь, которую нельзя оставлять без присмотра.

На лестнице они разминулись с нянечкой, тащившей ведро. Тамара Ивановна остановилась, и Алиса остановилась тоже — сразу, без толчка, ровно поставив ноги на ступень. Она ждала с той естественной неподвижностью, какая бывает у взрослых, привыкших к ожиданию,

и у кошек. Перед последним пролётом Тамара Ивановна взяла её за руку. Маленькая ладонь была сухой и тёплой.

В комнате для занятий столы сдвинули к стенам. На доске висел рисунок корабля под огромным оранжевым солнцем. Мужчина стоял у окна спиной к двери. Услышав шаги, обернулся.

Алиса посмотрела на него. Потом — на окно за его плечом, на свет. Потом снова на него.

И Тамара Ивановна вдруг ощутила себя лишней. Будто девочка уже вошла в какой-то разговор, который ещё не начался, а она сама осталась стоять по ту сторону порога.

— Можете оставить нас, — произнёс мужчина. Без грубости — с той естественностью, с какой говорят люди, чьи распоряжения не обсуждаются.

Тамара Ивановна наклонилась к девочке:

— Я буду за дверью.

Алиса коротко взглянула ей в лицо. Не попросила остаться. Тамара Ивановна вышла, оставив узкую щель, и уже в коридоре поняла, что не знает, кого успокаивала — ребёнка или себя.

VI

Валентин Петрович Северов опустился на детский стул с той непринуждённостью, которая доступна лишь людям, чьё достоинство не зависит от высоты сиденья. Жестом указал на стул напротив.

Алиса подошла и села — прямо, не касаясь спинки, сложив руки на коленях. Лисёнка устроила рядом на столе, сперва проверив, не соскользнёт ли он с края.

Они смотрели друг на друга.

Северов никогда не начинал с вопросов. Пауза говорила о человеке больше любого ответа: она обнажала то, что люди прячут за словами. Дети заполняли её предсказуемо. Одни начинали болтать, другие ёрзали, третьи заискивающе улыбались или застывали в обиженной неподвижности. За двадцать лет он научился читать каждый из этих вариантов, как открытую страницу.

Эта девочка не заполняла паузу. Она в ней жила.

Её взгляд двигался медленно и точно: седина у его виска, запонка под манжетой, пальцы на кожаной папке. Лишь потом — лицо. Без дерзости и без робости. Она не пыталась понравиться и не защищалась. Она изучала его так же внимательно, как он изучал её, — и Северов с удивлением понял, что впервые за много лет сидит перед ребёнком, который ведёт собственное наблюдение параллельно с ним.

Он видел много красивых детей. Фарфоровых, глянцевых, кукольных — чья прелесть таяла, стоило им открыть рот. Здесь было другое. Лицо ещё хранило детскую мягкость, но сквозь неё уже проступал рисунок, который годы не сотрут, а только отточат: высокие скулы, тонкая переносица с лёгкой горбинкой, тёмный изгиб бровей, родинка у виска. И глаза — тёмный янтарь с золотом, — в которых стояла тишина, не свойственная возрасту.

Она не просила взгляда. И потому удерживала его.

— Меня зовут Валентин Петрович, — сказал он. — Ты Алиса?

— Да.

Голос был тихим и чистым, без детского сюсюканья и без старательной взрослости. Она не спрашивала интонацией, правильно ли ответила.

— Тебе здесь нравится?

Алиса перевела взгляд на окно. Северов не стал помогать ей ни словом, ни выражением лица.

— Нет.

— Почему?

Пауза. Девочка чуть повернула голову к двери, откуда доносились голоса и звон посуды.

— Здесь всё время вчера.

Северов медленно положил ручку поперёк папки.

— Как это — вчера?

— Пахнет вчерашним, — пояснила она так, будто это было очевидно. — Каша вчерашняя. Варежки вчерашние. Утром проснёшься — а уже вчера.

— А как должно быть?

Она задумалась всерьёз — надолго. Пальцы лежали на коленях совершенно неподвижно; рядом с мизинцем из подола торчала нитка, но Алиса её не замечала.

— Каждый день — по-своему, — сказала она наконец. — Сегодня ведь — это сегодня.

Северов чуть наклонил голову. Большинство детей на такой вопрос отвечали предметами: конфеты, игрушки, мама, своя комната. Эта девочка не просила ничего, что можно дать в руки. Она просила, чтобы жизнь не повторялась.

— Подойди, пожалуйста, к окну.

Она послушно поднялась и пошла через комнату. Двигалась она так, что Северов невольно проследил за каждым шагом: легко, почти бесшумно, с прямой спиной и поднятой головой — с той врождённой, ничему не обученной соразмерностью, за которой хореографы годами гоняются в балетных классах. На середине комнаты под её ногой скрипнула половица. Следующий шаг она сделала ближе к стене, туда, где доски были новее, — и дальше шла беззвучно. Ей хватило одного звука, чтобы запомнить пол.

У окна она остановилась вполоборота к нему. Рассеянный серый зимний свет упал на лицо: скулы стали резче, глаза — темнее, отчётливее обозначилась тонкая горбинка носа. В удлинённом разрезе янтарных глаз, в густом соболином изгибе бровей было что-то восточное; в строгом рисунке лба и скул, в прямой, чуть отстранённой посадке головы — северное, почти скандинавское. Никто не знал её родословной. Никто не учил её держать голову именно так. Эти черты должны были бы смягчать друг друга, но почему-то делали лицо ещё выразительнее: тёплый, тёмный взгляд под спокойным открытым лбом, детская мягкость щёк — и уже проступающая под ней строгость линий. Северов пытался представить, какой она станет, и всякий раз возвращался к тому, что видел сейчас.

Он смотрел на неё секунд тридцать, не произнося ни слова. Она не шевельнулась и не спросила, что дальше. Спокойно позволяла себя рассматривать — как позволяют смотреть на себя кошки и очень красивые женщины, привыкшие к чужим взглядам.

— Что ты видишь?

Она опустила глаза к двору.

— Возле кухни снег серый. Там золу выносили.

— Ещё?

— На берёзе лист остался. Один.

Северов подошёл ближе и посмотрел. На нижней ветке, наполовину занесённый снегом, держался маленький рыжий лист. Он прошёл мимо этой берёзы десять минут назад и не заметил его.

— А что ты чувствуешь? — спросил он.

Алиса повернула голову и посмотрела на него снизу вверх.

— Вы с улицы пришли, — сказала она. — От вас холодом пахнет. И ещё чем-то. Горьким.

Он не ответил. Вернулся к столу, открыл папку, но писать не стал — подождал, пока девочка снова отвернётся к окну, и только тогда сделал короткую пометку.

Когда он поднял голову, Алиса уже смотрела на него.

— Вы за мной приехали?

— Почему ты так решила?

Она вернулась к столу и села на прежнее место.

— Гости смотрят и уходят. А вы смотрите — и запоминаете.

Тишина в комнате стала плотнее. Северов поймал себя на том, что не может подобрать нужную фразу, — с ним такого не случалось очень давно. Он знал десятки способов успокоить ребёнка, обойти острый вопрос, подменить правду удобной полуправдой. Но здесь любая ложь показалась бы не просто ненужной — неприличной. Будто его поймали бы на ней сразу.

— Да, — сказал он. — Я приехал за тобой.

Алиса кивнула. Без радости и без страха — так принимают известие, которое давно ждали и успели обдумать.

— Куда?

— В другой дом. Там будут дети. У тебя будет своя комната. Ты будешь учиться.

— Там есть сад?

— Есть. Большой.

Она помолчала.

— Там будет пахнуть по-разному?

— Да, — сказал он. И подумал, что это, пожалуй, единственное обещание, которое он может дать ей с чистой совестью.

Алиса взяла лисёнка обеими руками. Поднесла к лицу — не прижала, а лишь коснулась носом складки под вытертым ухом и задержалась так на несколько секунд, будто запоминала запах. Потом поставила игрушку на стол. Лисёнок накренился. Девочка подвинула ему под бок плоскую коробку с цветными палочками, отняла руки, посмотрела и поправила ещё раз — уже не лисёнка, а коробку, чтобы её край не выступал за край стола.

— Возьми его с собой, — сказал Северов.

Алиса покачала головой.

— Пусть здесь останется.

— Почему?

Она долго смотрела на разноглазую мордочку.

— Здесь его знают.

Северов не стал спрашивать, кто именно. Он хотел было отметить про себя лёгкость, с которой ребёнок расстаётся с прошлым, — но девочка всё стояла у стола, не трогая игрушку и не уходя. В этом не было лёгкости. Было решение. Так оставляют часть себя там, куда больше не вернутся.

Он поднялся и открыл дверь. Только тогда она повернулась и пошла за ним.

VII

Тамара Ивановна увидела лисёнка, когда вернулась за Алисой, чтобы одеть её в дорогу.

— Забыла?

Девочка покачала головой.

Воспитательница потянулась к игрушке. Алиса положила ладонь на край стола — не заслоняя лисёнка, не хватая чужую руку, просто положила. И Тамара Ивановна остановилась, словно наткнулась на невидимую черту.

— Он останется, — сказала Алиса.

— Как же ты без него?

Девочка подняла на неё глаза. Тамара Ивановна выдержала этот взгляд секунды три, потом отвела свой и сказала, что ладно, потом разберутся. В раздевалке она застегнула на Алисе пальто, поправила воротник и долго, дольше, чем требовалось, затягивала шнурки на её ботинках.

В кабинете директора тем временем лежал пакет документов, подготовленный безупречно. На титульном листе значилось: «Фонд поддержки одарённых детей-сирот». Внутри — направление на обследование в столичный медицинский центр, медицинские выписки, согласования, акт передачи ребёнка сопровождающему. Фонд был настоящим, с лицензиями и

реальным адресом. Медицинский центр тоже существовал — утром Крайнова сама позвонила туда по номеру из переписки, и вежливый женский голос подтвердил, что девочку ждут.

В направлении стоял срок: двадцать один день. Ни в одной бумаге не говорилось, что Алиса не вернётся. Такие вещи не пишут прямо. Для них существуют другие слова: «дальнейшее устройство», «образовательная программа», «вопрос решён на уровне фонда».

Валерия Борисовна сверила номера приложений, подписала акт и поставила печать. Рука у неё не дрогнула. Северов расписался в получении. Алиса стояла у двери, придерживая ворот пальто, и смотрела, как на белом листе проступает круглый синий оттиск.

— Семнадцатое число, — сказала Крайнова. — Здесь и в реестре одинаково.

— Всё верно.

Белый конверт лежал на углу стола. Валерия Борисовна не прикоснулась к нему, пока гость не вышел.

Во дворе Тамара Ивановна довела Алису до калитки. Водитель открыл заднюю дверь; на сиденье у окна уже было установлено детское кресло — его привезли заранее, как и всё остальное. Алиса забралась в него сама, держась за край дверцы. Северов сел с другой стороны и пристегнул её — спокойно, без суеты, будто делал это не впервые.

Тамара Ивановна стояла на тротуаре. Ей вдруг отчаянно захотелось дать девочке что-нибудь в дорогу — яблоко, печенье, свой шарф, хоть что-то не казённое, — и только теперь она вспомнила, что в её шкафчике лежит нераспечатанная пачка печенья. Возвращаться было поздно.

Она подняла руку.

Алиса смотрела на неё через стекло. Ответила не сразу — сперва выслушала что-то, сказанное ей в машине. Потом подняла ладонь и приложила пальцы к стеклу на уровне лица. Не помахала. Ответила.

Машина тронулась. У поворота её заслонил хлебный фургон, а когда фургон проехал, улица была пуста.

Вернувшись, Тамара Ивановна первым делом пошла в комнату для занятий. Лисёнок сидел у коробки с палочками — одним янтарным глазом на дверь, другим мимо. Она взяла его в руки. На столе под ним остался тонкий тёмный волос с медным отливом.

Забытые вещи выбывших воспитанников обычно относили в шкаф в конце коридора, и через месяц никто уже не помнил, чья там кофточка или пластмассовая чашка. Тамара Ивановна дошла до шкафа, постояла перед ним — и не открыла.

До конца смены лисёнок пролежал в её сумке. Вечером она унесла его домой и поставила на кухонный подоконник, рядом с геранью. Он простоит там много лет. Объяснить этого она не смогла бы даже себе: просто мысль, что он станет ничьим, казалась невыносимой.

В директорском кабинете конверт к тому времени был вскрыт. Валерия Борисовна пересчитала купюры дважды — сначала перелистывая, потом раскладывая по десяткам. Убрала их в нижний ящик, отдельно от хозяйственных денег, и задвинула ящик до щелчка.

Некоторое время она сидела неподвижно. Потом открыла журнал движения воспитанников и вывела ровным почерком:

«17.10.2003. Соболева Алиса. Временное выбытие. Обследование».

Проверила строку. Ни одной помарки.

VIII

В машине играл Дебюсси.

Алиса не знала ни имени композитора, ни названия пьесы — «Лунный свет». У неё не было для этой музыки никаких слов. Был только рояль, совсем не похожий на расстроенное пианино в комнате для занятий, где одни клавиши отзывались резко, а другие молчали, пока не ударишь сильнее. Здесь звук рождался мягко и не умирал сразу: одна нота ещё дрожала в воздухе, когда за ней уже приходила следующая. Алиса пыталась поймать мгновение, когда

первая исчезнет совсем, — и всякий раз не успевала. Звук не обрывался. Он растворялся, как снег на тёплой ладони.

Она сидела прямо, сложив руки на коленях, и смотрела в окно.

Мимо проплывал город: серые торцы пятиэтажек, магазин с закрашенной витриной, гаражи, остановка, где люди прятали лица в воротники. Прежде Алиса ездила только в автобусах с запотевшими стёклами, сквозь которые улицу приходилось разглядывать в протёртый ладонью круг. Здесь стекло было чистым. Можно было видеть всё сразу и ничего не выбирать.

Валентин Петрович сидел рядом и читал бумаги из папки. Он не заговаривал с ней, не уверял, что всё будет хорошо, не пытался развлечь. Алиса оценила это молчание: взрослые обычно спешили заткнуть любую паузу словами, будто тишина их пугала. Этот умел молчать.

В салоне пахло кожей сидений и тёплым воздухом, идущим откуда-то снизу. От Валентина Петровича пахло шерстью пальто, морозом, который он принёс с улицы, и ещё чем-то тонким, горьковатым — похожим на дым от сырых веток, только чище. Алиса не знала, что это за запах. Но была уверена: если встретит его через много лет, в любом месте, среди любых людей, узнает сразу.

Город кончился. С одной стороны потянулось поле в полосах снега и чёрной земли, с другой подступили сосны. Потом лес сомкнулся по обе стороны дороги — высокий, тёмный, с ветвями, отяжелевшими от снега. Настоящий лес. Не та далёкая синяя полоса на горизонте, которую она видела из окна спальни.

Она положила ладонь на колено и тихо постучала пальцами: два удара, пауза, ещё один. Как будто проверяла, звучит ли время здесь так же, как там.

Не звучало. Там пауза была заполнена гулом труб. Здесь — шорохом шин по мокрому асфальту. Та же длина, но другая тишина. Алиса прислушалась и убрала руку.

Лисёнок остался на столе.

Она помнила, как он накренился и как пришлось подпереть его коробкой. Надо было поставить ровнее. Ничего. Тамара Ивановна поправит. Она умеет — у неё ложка никогда не соскальзывает с края блюдца, даже когда она несёт две чашки сразу.

Алиса не жалела. Жалеть — значит хотеть вернуться, а возвращаться она не собиралась. Но помнила. Один глаз янтарный, другой чёрный. Ей всегда было интересно, почему никто не пришил две одинаковые пуговицы. Может, было некому. А может, так и надо: не всё, что можно исправить, нужно исправлять. Иногда именно несовпадение делает вещь живой.

На тёмном фоне леса в стекле проступило её отражение. На светлых просветах поля оно бледнело и исчезало. Алиса чуть повернула голову, и тёмная точка у виска повернулась вместе с ней. Навстречу прошёл грузовик, фары плеснули в окно белым — и отражение пропало.

— Далеко ещё? — спросила она.

Валентин Петрович поднял голову от бумаг.

— Около двух часов.

Алиса подумала и снова повернулась к окну.

Музыка стихла. Несколько секунд слышались только мотор, дорога и шелест переворачиваемой страницы. Потом рояль заиграл снова — та же пьеса, с самого начала. Алиса узнала первые ноты.

На стекло лёг крупный хлопок снега, потемнел, вытянулся на ветру и сорвался вбок. Следующий продержался дольше.

Она закрыла глаза — не для сна. Ей хотелось различить каждый запах по отдельности и при этом не потерять музыку. Кожа. Тепло. Шерсть. Мороз. И тонкая горечь человека рядом — человека, который запоминал.

Каждый день — по-своему, беззвучно повторила она. Не просьба. Обещание самой себе.

Она ещё не знала, что скоро её желания перестанут что-либо значить. Что на их место придёт нечто иное — выученное, отточенное, беспощадно точное, — и поначалу будет

казаться, что это то же самое, только лучше. Что её способность слышать тишину, читать людей по запаху, по паузе, по дрожанию голоса однажды назовут даром — и станут шлифовать, как шлифуют алмаз: снимая всё лишнее, пока не останется одна сияющая грань, о которую режутся.

Она ещё не знала, что совершенство всегда берёт плату и забирает прежнее без остатка.

Пока она была просто пятилетней девочкой в чужом пальто, которую везли сквозь заснеженный лес под музыку, растворявшуюся в воздухе, как снег на ладони.

Лейлы ещё не существовало.

Алиса смотрела в окно.

Глава вторая. Школа ночи

«Самое опасное образование — то, которое отвечает на все вопросы, кроме одного: зачем».

I

Дом появился, когда дорога перестала быть дорогой между городами и сделалась узким проездом среди елей. Ветви нависали над машиной; снег падал с них тяжёлыми рыхлыми комьями. Дважды Алиса слышала, как он ударяется о крышу. Потом деревья разошлись, и впереди встали каменные столбы с закрытыми воротами.

Водитель остановился. Под козырьком повернулось тёмное стекло. Человек в будке наклонился, посмотрел на машину и что-то сказал в трубку. Только после этого створки начали расходиться — медленно, открывая мокрую дорожку, яблони с чёрными подпорками под ветвями и светлую стену дома.

Алиса смотрела на то место, где только что соприкасались железные края. Теперь там можно было проехать. Она отметила это так же спокойно, как отмечала всё: ворота открываются не от того, что к ним подъехали, а от того, что кто-то посмотрел и разрешил.

До крыльца ехали ещё минуту. Ели закрывали низкое небо, и день здесь казался вечером. В окнах первого этажа горели лампы; за одним стеклом мелькнула поднятая рука, но Алиса не успела увидеть, кому она принадлежала.

Когда открылась дверца, в салон вошёл запах прелых яблок.

У крыльца она остановилась. Под снегом лежали листья — невидимые, но ещё тёплые своим гниением. От поленницы у стены тянуло берёзовой корой, сырой и чуть сладкой. Хвоя пахла выше, там, где ветер проходил между ветвями. Три разных запаха стояли на трёх разных высотах, и Алиса вдохнула ещё раз, стараясь не смешать их.

Северов, уже поднявшийся на крыльцо, обернулся — и подождал.

— Пойдём в тепло.

В доме пол блестел, но не скользил. Сквозь воск проступало что-то горькое, аптечное; в глубине коридора щёлкнула закрывшаяся дверь.

Их встретила женщина с короткими светлыми волосами, в серой кофте. Она не присела на корточки перед девочкой и не спросила, как доехали. Сначала взяла у Северова бумаги, провела пальцем по верхнему листу сверху вниз — быстро, как считывают, а не читают, — и только потом посмотрела на Алису.

— Здравствуй. Меня зовут Нина. Покажу тебе комнату.

На лестнице пахло иначе: сухим деревом и нагретой тканью. У одной двери Нина придержала девочку за плечо, пропуская женщину с подносом. На подносе стояли шесть чашек. Алиса успела заметить, что у одной ручка приклеена — тонкая жёлтая черта пересекала белый фарфор наискось.

Шесть чашек. Она запомнила число раньше, чем поняла, зачем его запомнила.

Комната оказалась её собственной.

Алиса не поверила сразу. Проверила взглядом пространство между шкафом и стеной. Зашла за кровать. Второй не было.

На столе стоял стакан с карандашами, на полке — книги. Верхняя была тонкой, с рыжей лисой на обложке. У нарисованного зверька оба глаза смотрели в одну сторону. Алиса провела пальцем по бумажному уху и положила книгу обратно рисунком вниз.

— Здесь ещё дети есть?

— Пять девочек. Завтра познакомишься.

Шесть чашек. Значит, шестая — её.

Нина открыла шкаф. Там висели платья и кофты, на нижней полке лежало бельё. Она достала домашние туфли, поставила их перед Алисой и присела проверить размер.

— Здесь тебя будут звать Лейлой.

Девочка посмотрела на склонённую макушку. В проборе виднелась узкая розовая полоска кожи.

— У меня есть имя.

— Я знаю. Но здесь у всех другое. Так принято.

Алиса не ответила. Нина ещё несколько секунд держала её пятку в ладони, хотя туфля уже села как надо.

— Лейла значит «ночь».

— А днём?

Женщина подняла голову. В комнате стало слышно, как внизу закрывают дверь.

— И днём тоже. Это просто имя.

Последние два слова она произнесла мягче остальных, и Алиса услышала это смягчение так же ясно, как слышала разницу между запахами на крыльце. Взрослые делали голос мягче в двух случаях: когда жалели и когда не хотели продолжать разговор.

Здесь был второй.

Нина показала ванную, объяснила, где полотенца и какую ручку крана поворачивать первой. Горячая вода пошла сразу, без приютского кашля в трубах. Алиса долго держала под струёй пальцы, пока ей не сказали, что пора умываться.

Вечером принесли ужин. В супе плавала тонкая веточка укропа. Девочка выловила её ложкой и положила на край тарелки — не потому, что не любила укроп. Хотелось посмотреть, останется ли она зелёной, когда высохнет.

Нина спросила, не болит ли живот. Алиса покачала головой.

Перед сном она подошла к окну. В саду горел один фонарь. За освещёнными ветвями стояла настоящая темнота — без соседнего корпуса, без чужих окон, без дежурной лампы в чужом коридоре. В неё можно было смотреть, и оттуда никто не смотрел в ответ.

Ночью Алиса проснулась от собственного дыхания.

В спальне на двенадцать кроватей оно терялось среди чужих звуков. Теперь было слышно, как воздух проходит через нос и как под щекой шуршит наволочка.

Она протянула руку к краю подушки. Пальцы нашли только ткань.

Полежала так, не убирая руки. Потом сказала тихо:

— Алиса.

Имя прозвучало слишком громко для этой комнаты.

Она повторила его ещё раз, уже без голоса — одними губами. Так оно поместилось.

II

За завтраком её позвали трижды.

Первые два раза она слышала и не поняла, что обращаются к ней. На третий Нина коснулась спинки стула.

Девочка подняла голову. Напротив сидела смуглая черноволосая Кармен и смотрела с откровенным интересом, будто ждала продолжения представления. Рядом белокурая девочка обхватила чашку обеими руками. Три старшие ели быстро, не поднимая глаз.

— Это Лейла, — сказала Нина. — Кармен покажет, где малый класс.

Она поставила перед новенькой кашу, достала блокнот и положила его на край стола. Написала несколько слов, потом крупную цифру «3». Лейла смотрела, как ручка обводит нижний полукруг — дважды, чтобы вышло отчётливее.

Нина закрыла блокнот и отошла к буфету.

— Ты нарочно? — спросила Кармен.

— Что?

— Не отвечала.

Лейла подумала.

— Я ещё не привыкла.

Кармен подвинула ей блюдце с маслом. У неё были быстрые глаза и маленькая содранная корочка возле ногтя; этот палец она прятала под ладонь, когда Нина подходила ближе.

— Привыкнешь. Тут ко всему привыкают.

— А если не привыкну?

Кармен пожала плечом. Улыбаться она перестала.

Первые три недели Лейлу возили в город.

Машина останавливалась у здания с белой лестницей. Внутри пахло спиртом, резиной и тёплой пылью. Врач просил показать язык и стучал молоточком под коленкой. Женщина в очках задавала вопросы о картинках и записывала ответы в бланк с печатью.

Там её снова звали Алисой.

Она оборачивалась сразу — и каждый раз Нина смотрела на часы. На обратной дороге девочка спросила, почему в городе не знают нового имени.

— У них свои бумаги, — ответила Нина.

— А у нас?

— А у нас свои.

Лейла поняла достаточно. Существовали две стопки бумаг, и в одной из них девочка по фамилии Соболева всё ещё проходила обследование и должна была вернуться.

В последний день ей дали подержать заключение — толстый лист с несколькими подписями. Она смотрела на него, замечая, как расходятся волокна бумаги под печатью. Потом поездки кончились, и никто больше не произнёс при ней «Алиса» вслух.

Дом остался тем же. Платья в шкафу были её размера с первого дня.

Северов приехал на второй неделе, ещё до конца обследований.

В малом классе было душно. Он открыл форточку, и с холодным воздухом вернулся тот слабый горьковатый запах, который она запомнила в машине. Девочка подняла глаза раньше, чем он поздоровался.

Он спросил, как она спит. Потом велел подойти к окну и простучал ладонью по подоконнику: два близких удара, промежуток, ещё один.

— Повтори.

Рисунок был почти тот самый, что она выстукивала пальцами по колену в дороге. Но промежуток оказался длиннее, и она закончила раньше него.

Северов не сказал, что плохо.

— Сначала дослушай. Начнёшь, когда я уберу руку.

Во второй раз она следила за его пальцами. Дождалась. Выдержала промежуток.

Он поменял рисунок — теперь приходилось удерживать в голове начало, пока ещё длился конец. На третьем задании она перепутала два последних удара. Он повторил, и девочка закрыла глаза.

— Почему закрыла?

— Мешает.

— Что?

Она показала на собственную руку. Рука хотела начать раньше, чем кончал он.

Северов попросил повторить с открытыми глазами. В коридоре хлопнула дверь. Лейла вздрогнула, сбилась и обернулась на звук. Он не окликнул её — дождался, пока повернётся сама.

— Продолжим?

Она кивнула. Руку подняла не сразу: пришлось ещё раз послушать начало.

Уходя, он оставил на столе лист. Нина забрала его раньше, чем девочка успела подойти к столу, и Лейла отметила про себя, что та не торопилась — просто оказалась ближе.

По утрам учили читать, считать и писать. Специальные занятия поначалу длились недолго: двадцать минут, потом прогулка или игра. Постепенно промежутки заполнились, и день, который раньше можно было пересечь одним взглядом от завтрака до ужина, сделался длинным коридором со множеством дверей.

Лев Аркадьевич Берестов приезжал по вторникам. От его шарфа пахло табаком, от пальцев — апельсиновой коркой. Он привозил магнитофон и не разрешал открывать учебник, пока не услышит, как они повторяют запись.

— Слов пока не надо, — говорил он. — Сначала возьмём чужой голос напрокат.

Из динамика женщина произносила короткую французскую фразу. Берестов останавливал плёнку. Кармен повторяла слишком звонко, будто звала кого-то через двор. Лейла запоминала и подъём голоса, и тихий конец: ей казалось, что внутри звука есть движение, которое можно перенести целиком, как переносят воду в ладонях.

На середине он поднял палец.

— Здесь ты вышла из фразы. Зачем?

Она не поняла. Он отмотал их собственную запись. Перед последним словом возник маленький провал, и голос Лейлы после него начинался с нового усилия.

— Дышать захотела?

— Нет.

— А вдохнула. Как перед новой комнатой. Не надо каждый раз стучаться.

Он произнёс: «Il est arrivé». На стыке последних слов возник короткий согласный, который она в своём повторе потеряла вместе с дыханием.

— Язык сделает своё. Ты не рви воздух. Чужака выдаёт не падеж — до падежа ещё надо дожить. Выдаёт связка на стыке гласных. А иногда одна лишняя остановка.

Лейла попробовала тянуть выдох и испортила конец: воздуха не хватило. Берестов дал кусок короче, потом соединил. На следующем занятии ошибка вернулась.

Она сердилась молча, с тем ровным лицом, которое взрослые принимали за отсутствие досады. Только ноготь раз за разом находил зазубрину под крышкой стола.

Берестов накрыл зазубрину ладонью.

— Слушай себя, а не воюй со столом.

Через несколько недель он поставил подряд три незнакомые фразы. В первой ей хотелось вдохнуть на старом месте — она успела продолжить звук. Вторую повторила легче. В третьей ошиблась высотой, зато не разорвала связку.

Он вернулся ко второй и попросил её отвернуться к окну и сказать ещё раз, не глядя на него.

— Теперь есть что учить, — сказал Берестов.

Она не знала значения двух слов, которые только что произнесла.

Но вечером, когда Нина крикнула из коридора по-французски, что пора идти, ноги понесли Лейлу к двери раньше, чем голова успела перевести.

III

К восьми годам Лейла различала учителей по тому, как они обращались с тишиной.

Берестов оставлял паузу между записями, чтобы в голове успел утихнуть предыдущий голос. Андрей Николаевич обрывал тишину на полуслове, проверяя, кто успеет подумать. Светлана Михайловна ждала, пока кто-нибудь сам заметит ошибку, и могла ждать очень долго.

У неё были холодные светлые глаза, тонкие пальцы и привычка снимать часы перед уроком — класть рядом с журналом циферблатом к себе. Лейла однажды спросила зачем.

— Чтобы не смотреть на них у вас на виду.

Ответ понравился. Он не притворялся другим ответом.

Весной Светлана Михайловна нарисовала на доске несколько кружков. В одном написала «Пётр», в другом — «Екатерина». Остальные оставила пустыми.

— Ты правитель, — сказала она Кармен. — Вот люди, которым ты платишь. А вот человек, которому выгодно, чтобы правителем стала Лейла. Что сделаешь, когда узнаешь, что он собирает солдат?

— Прикажу арестовать.

— Кому прикажешь?

Кармен указала на ближайший кружок.

— А этот от кого сейчас получает деньги?

Учительница провела ещё одну линию. Схема перестала напоминать солнечную систему и сделалась сетью, где каждый узел держался сразу за несколько нитей, и ни одну нельзя было перерезать отдельно.

Они разбирали переворот тысяча семьсот шестьдесят второго года. Лейла провела на карте линию от Петергофа до казарм Измайловского полка. Рядом с именем Екатерины появились братья Орловы.

Она уже прочла главу и знала, кто поехал в столицу и кто первым присягнул. Ей нравилось, что у давно умерших людей можно узнать завтрашний день.

Но Светлана Михайловна всякий раз закрывала книгу прямо перед тем местом, где этот день начинался.

— У нас утро. Чем кончится, ещё никто не знает. Почему вот этот человек присоединится к заговору?

— Боится, что накажут, если не пойдёт.

— Откуда ты это взяла?

— Если все пошли…

— На твоём листе ещё не все. Ты принесла ему знание из будущего.

Кармен показала на Алексея Орлова: тот рассчитывал на чин. Учительница попросила показать, где это написано. В книге говорилось, что после переворота он стал генерал-майором и графом, — речь шла о событиях, которые в выбранное ими утро ещё не наступили.

— Но ведь получил же, — сказала Кармен.

— Получил. Покажи, где он заранее сговорился именно об этом. Или перенеси в другую колонку.

— Значит, и этого не знаем? — спросила Лейла.

— Знаем, что наградили. Предполагаем, что рассчитывал. Это два разных знания, и стоят они по-разному.

Она заставила переписать все ответы в две колонки: «известно» и «предполагаю». Во второй оказалось втрое больше строк. Лейла почувствовала глухое раздражение: всё, что минуту назад выглядело законченным, снова требовало работы.

— Власть рушится по одному сценарию, меняются только костюмы, — произнесла Светлана Михайловна и, заметив, как Кармен потянулась записывать, покачала головой. — Вот это не пиши. Это удобная фраза. Удобные фразы запоминаются первыми и врут чаще остальных. Найди мне случай, где она не работает.

К концу урока на доске не осталось двух одинаковых стрелок. Одному обещали место, другой защищал своё прежнее, третий ждал, кто рискнёт первым, и присоединился бы к любому.

В колонке «известно» напротив Орлова стояло меньше строк, чем Лейле хотелось.

За ужином объявляли итоги недели.

Последнее место заняла Афродита. Она пролила краску на законченную карту, и оценку снизили не за карту, а за небрежность. В воскресенье вместо кино ей назначили дополнительное занятие.

Девочка смотрела в тарелку, пока старшая объясняла, что правило для всех одинаковое.

— Карта была готова, — сказала Кармен. — Пусть посмотрят черновик.

Лейла уже набрала воздуха, чтобы сказать то же самое.

И не сказала.

Нина перевернула страницу журнала и назвала следующую оценку. Потом ещё одну. Первое место заняла Лейла; наградой был дополнительный час с Берестовым, которого ей всё время не хватало.

Она поблагодарила. Дождалась, пока прочтут весь список до конца.

И только тогда сказала — ровно, без нажима:

— Черновик карты лежит в шкафу. Его можно посмотреть.

Не «несправедливо». Не «верните кино». Только про черновик.

Нина пообещала разобраться. И сразу заговорили остальные — теперь, когда оценки были объявлены и возражать стало безопасно, говорить захотели все.

Позже Кармен поймала её в коридоре.

— Ты почему молчала?

— Я хотела дослушать.

Кармен смотрела на неё секунду дольше, чем нужно.

— Поняла.

Лейла кивнула.

Афродита всё равно осталась без кино — черновик нашли, но решение не изменили. Дополнительный час французского Лейле не отменили тоже.

Вечером она долго мыла кисточку, хотя вода давно шла чистая. Ей было неприятно, и она честно разбиралась, от чего именно: от того, что Афродиту наказали, или от того, что собственный расчёт оказался точным и всё равно ничего не изменил.

Второе оказалось сильнее. Это ей не понравилось больше всего.

IV

Рита Владимировна считала, что детей портят взрослые, требующие выразительности.

— Ещё громче, ещё веселее, покажи ручками, — передразнивала она, снимая браслеты перед занятием. — Получается пожарная тревога, а не человек.

В марте ей принесли ведомость с неправильной суммой. Она показала лист девочкам, объяснила, что ей недоплатили за шесть часов, и убрала бумагу в сумку.

— Представим, что я пришла за своими деньгами. Кто будет начальником?

Кармен заняла место за учительским столом — ей нравились роли, где решение принимают другие, а она только соглашается или нет. Лейле досталась просительница.

На листе было написано, сколько часов отработано и сколько заплачено. Разница получалась простым вычитанием.

Кармен сказала, что денег нет.

Лейла начала объяснять. Перечислила занятия, числа, дни недели. Кармен отвернулась к окну — и Лейла заговорила быстрее, стараясь вернуть её взгляд. К концу объяснения она уже не слышала, чего именно требует. Речь сделалась оправданием за то, что она вообще пришла.

Рита хлопнула ладонью по столу.

— Что случилось?

— Она не слушает.

— А зачем ты дала ей столько слов? Теперь ей есть чем заняться. Она выберет самое слабое и будет спорить только с ним.

— Значит, надо молчать?

— Надо получить деньги. Молчание — не новый текст вместо старого.

Во второй раз Лейла положила лист на стол и сказала одну фразу. Дождалась ответа. Кармен рассмеялась ей в лицо. Лейла выдержала и это — только подбородок поднялся чуть выше.

— Стоп, — сказала Рита. — Теперь ты пришла наказать её своим достоинством. Очень красиво. Деньги где?

Девочки засмеялись. Лейла не улыбнулась. Она умела быть неподвижной без усилия, но сейчас неподвижность стала видна — затвердела в плечах.

Рита подошла и легко тронула её за локоть.

— Ты ведь умеешь молчать. А сейчас играешь молчание, и я слышу, как ты его играешь. Не держи комнату зубами. Ты имеешь право здесь стоять, даже когда ничего собой не представляешь.

На третьей попытке Кармен сменила приём: предложила сесть, заговорила ласково, пообещала разобраться потом.

Лейла села. Вдохнула, чтобы поблагодарить, — и остановилась на вдохе.

— Когда я могу прийти за ответом?

— На следующей неделе.

— В какой день?

Кармен поискала глазами Риту. Та не помогла.

— Во вторник.

— Во вторник, — повторила Лейла.

Она придвинула копию ведомости на середину стола и замолчала. Пауза вышла длинной. Кармен первой протянула за листом руку.

Рита не похвалила. Велела сыграть ещё раз — с другой девочкой, которая вместо ласки начала кричать. Здесь Лейла растерялась: против крика у неё ничего не было. Но где-то на середине она вспомнила про вторник и вернулась к вопросу о сроке, и крик вдруг оказался не при чём.

После урока она видела, как Рита разговаривает с Ниной в дверях.

Без прямой спины. Без тяжёлых пауз. Усталая женщина поправляла сумку на плече и ждала, пока другая пересчитает цифры в ведомости.

Нина достала из конверта деньги.

Лейла пошла дальше, стараясь не смотреть, и всю дорогу до комнаты думала об одном: всё, чему её сегодня учили, оказалось не нужно. Нужно было просто быть человеком, которому эти деньги должны.

Вечером, решая задачу, она дважды написала в ответе «вторник».

V

Андрей Николаевич не разрешал смотреть на магнитофон, когда из него говорили люди.

— Я лиц вам не обещал. Ищите остальное.

Летом, незадолго до приезда Ажан, он поставил запись двух взрослых. Женщина спрашивала, куплен ли хлеб. Мужчина отвечал, что забыл. Шумела вода. Один раз близко к микрофону хлопнула дверца шкафа.

Лейла записала: «Она старше. Он виноват». Про возраст вывела: «Сорок».

— Сорок — кому? — спросил Андрей Николаевич.

— Ей.

— А тридцать семь подойдёт? А пятьдесят два?

Она промолчала.

— Пиши то, за что можешь отвечать. Ты слышишь взрослый женский голос. Усталый он или просто низкий — проверим. Год рождения из шума воды не вытащишь.

Запись продолжилась. Женщина спросила про хлеб ещё раз, громче. Мужчина ответил коротко и очень вежливо.

Лейла подумала: успокоился. Не спорит — значит, признал, что неправ.

Андрей Николаевич выключил звук.

— Что будет дальше?

— Он сходит за хлебом.

— А она чего хочет?

— Чтобы сходил.

Он включил продолжение.

Женщина сказала: «Ты хоть посмотри на меня». Потом долго было тихо — так тихо, что стало слышно холодильник. Наконец мужчина произнёс: «Ключи оставлю на полке. За остальным приеду в субботу».

Лейла подняла голову.

— Они расстаются?

— На этой записи — да. Женщина сама принесла её для занятия и потом говорила со мной, поэтому продолжение знаю я. Ты знаешь только то, что услышала. Так где ты решила, что он согласен?

Она показала строчку в тетради.

— Он стал говорить тихо.

— Тише бывает по-разному. Посмотри, что он сделал: перестал отвечать на то, о чём его спрашивают. Остались аккуратные слова. Живая ссора звучит громко. Решённое дело — тихо и вежливо. Здесь вышло так. В другой семье будет наоборот, и не делайте из меня гадательную книгу.

Он отмотал к первому вопросу.

И теперь Лейла услышала то, чего не слышала раньше: слово «хлеб» каждый раз было другим. В первый раз за ним можно было сходить в магазин. Во второй за ним уже не продавалось ничего.

— Она хочет, чтобы он остался, — сказала Лейла.

— Похоже на то. А он?

— Чтобы она не задерживала.

— Вот это ближе.

На второй записи человек объяснял ученику, как отключать старый станок. Голос был молодой, команды — короткие, с паузами в нужных местах. Кармен решила, что говорит начальник. Лейла услышала, что он дважды предупреждает об одной и той же ошибке, и сказала, что он давно работает именно на этом станке.

Выяснилось: говорившему двадцать четыре года, а рядом стоит мастер, который старше его на пятнадцать лет и молчит.

Потом тот же отрывок показали с изображением. Молодой отворачивался, пока объяснял, но перед каждым опасным движением смотрел не в лицо ученику, а на его руки.

— Голос, тело, смысл, — сказал Андрей Николаевич. — Если один говорит вам «начальник», а двое других сомневаются, не спешите строить ему кабинет.

После занятия Кармен спросила, зачем женщина отдала чужим людям свой разговор.

— Может, хотела понять, — ответила Лейла.

— А ты бы отдала?

Лейла покачала головой.

В тетради у неё так и осталась не зачёркнутой строчка: «Он виноват».

VI

Ажан появилась в сентябре, когда Лейле было восемь.

Накануне Нина велела освободить столы и приготовить чистые тетради. Утром новая преподавательница сказала, что тетради не понадобятся.

Она была маленькой, в тёмном платье, с серебряными волосами, собранными на затылке низким узлом. Жемчуг лежал у горла ровной матовой полосой. Когда она положила на стол папку, Лейла увидела пигментные пятна на тыльной стороне руки и тонкий светлый шрам между большим и указательным пальцами.

Никто не спросил, какой будет предмет.

Женщина медленно обошла класс. Возле Афродиты остановилась, посмотрела на её плотно сжатые колени и ничего не сказала. Лейла сама, без замечания, опустила плечи — движение было крошечным, но Ажан заметила: взгляд задержался на ней чуть дольше, чем на других.

— Вы можете звать меня мадам Ажан.

Голос был низким, с чуть иначе поставленными гласными. Берестов однажды давал похожую запись; Лейла не вспомнила страну — вспомнила ощущение сухого тёплого воздуха внутри звука.

И ещё одно она отметила сразу, и это оказалось важнее голоса.

От Ажан почти ничем не пахло.

Все взрослые имели запах, и по нему Лейла знала о них больше, чем по словам: табак и апельсин у Берестова, мел и валерьянка у Светланы Михайловны, стиральный порошок и чужие духи у Нины. От этой женщины шёл только сухой след пудры — и под ним ничего. Ни пота, ни страха, ни дома, ни утренней еды. Пустое место, в которое нельзя было войти.

Впервые человек оказался для неё закрыт.

Ажан написала на доске одно слово: «Эго».

— Кто знает, что это?

Кармен сказала: «Я». Одна из старших: «Самолюбие». Лейла смотрела на белую пыль, осыпавшуюся с мела у края рукава.

— И то и другое пригодится, — произнесла Ажан. — Но сегодня возьмём человека, которому нужно, чтобы его видели таким, каким он видит себя. Даже если сам себе он верит не до конца. Особенно если не до конца.

Она позвала Кармен и велела нарисовать дом. Посмотрела на рисунок.

— Красиво.

Кармен пожала плечом.

— А теперь иначе. Ты хорошо видишь, как вещь устроена. У тебя крыша держится на стенах, а не висит над ними. Кто тебе показал?

— Никто.

Ответ вылетел раньше, чем Кармен успела подумать. И она сама придвинула лист ближе к Ажан — чтобы та посмотрела ещё.

Ажан положила рисунок обратно.

— Что изменилось?

— Вы похвалили её ум, — сказала старшая.

— Я предложила ей узнаваемое представление о себе. Кармен любит, когда замечают, что она дошла сама. Если я начну хвалить её послушание, она решит, что мне от неё что-то нужно. И, скорее всего, будет права.

Кармен откинулась на спинку стула. На рисунок она больше не смотрела, но и отодвинуть его обратно не могла.

Лейла ощутила беспокойство — негромкое, почти приятное. Такое бывало перед новой мелодией, когда по первым тактам уже слышно, что дальше будет сложно.

— Этим можно заставить? — спросила Афродита.

— Этим можно получить согласие. Иногда человек потом сам будет объяснять вам, почему хотел именно этого.

— А если он не хотел?

— Тогда посмотрите внимательно, что именно вы у него взяли.

Ажан говорила спокойно, не прибавляя голосу силы. Лейла отметила, что учительница ни разу не потребовала смотреть ей в глаза — и что никто не отвлёкся ни на минуту.

— Человеку мало, чтобы его слушали. Чаще он хочет получить обратно самого себя — но без той части, за которую ему стыдно. Одному нужно быть сильным. Другому незаменимым. Третьему — не таким, как все. Не угадывайте заранее. Сначала узнайте, что он бережёт.

Лейла подняла руку.

— А если он тоже так умеет?

Ажан повернулась к ней.

— Как?

— Узнает, что берегу я. И скажет мне это вслух.

Женщина смотрела долго. Класс молчал. Лейла не отвела глаз, но почувствовала, как пальцы сами сильнее прижались к краю сиденья.

— Тогда, моя дорогая, — сказала Ажан, — начинается война.

Улыбка возникла едва заметно, только у одного угла рта, и сразу ушла.

Лейла обрадовалась ей сильнее, чем любой прежней похвале, и тут же поняла, что это и есть то самое, о чём говорилось на уроке: ей только что вернули её саму — умной, равной, опасной. И она это взяла.

Когда Ажан отвернулась к доске, Лейла разжала пальцы. На ладони осталась красная вмятина от края сиденья.

VII

На следующий день перед ней положили фотографию.

Светлая стена. Чуть оттопыренные волосы. Лицо, которое принадлежало ей, но было меньше нынешнего — будто комнату, где она когда-то жила, уменьшили вместе со всеми вещами.

Лейла помнила часы справа от фотографа и помнила, как у них дёргалась секундная стрелка. На снимке часов не было. Остался только взгляд, направленный туда, где они висели.

Ажан раскрыла папку. На одном листе стояло семнадцатое октября, на другом — дата неделей позже.

— Здесь записаны две встречи, — сказала она. — Что Валентин Петрович хотел узнать?

— Хорошо ли я буду учиться.

— Он тебе это сказал?

— Нет.

— Тогда положим пока к остальным предположениям.

Кармен наклонилась, пытаясь прочесть лист. Со своего места не увидела ничего.

— А почему маленьких берут? — спросила она. — Я бы сейчас всё сделала лучше.

— В пять-шесть лет уже видны некоторые привычки, и остаётся много времени, чтобы поменять остальные. Так рассчитывает Валентин Петрович. Взрослого труднее отделить от того, что он считает своим.

— Старое стирается?

Ажан посмотрела на фотографию.

— Он хотел бы, чтобы стиралось. Ты забыла, как тебя звали?

Кармен не ответила.

— Вот и не называйте расчёт результатом.

Она перевернула лист.

— Походка. Положение головы. Голос. Взгляд. Но если девочка идёт тихо, это ещё не значит, что она спокойна. Иногда она старается не привлечь внимания. Иногда боится лишний раз ступить. Иногда просто умеет ходить. Поэтому просят сделать несколько разных вещей подряд.

Лейла вспомнила новую половицу у стены. Сухой стук подошвы, которого удалось избежать. Тогда ей казалось, что взрослый просто хочет посмотреть во двор и не знает, где лучше встать.

Ажан попросила её пройти до двери, вернуться и остановиться, когда услышит своё имя. И назвала имя в тот момент, когда Лейла переносила вес с ноги на ногу.

Та замерла слишком резко и отставила ступню, чтобы не качнуться.

— Тебе велели остановиться, а не перестать дышать. Ещё раз.

Во второй раз она закончила перенос веса и встала без лишнего шага.

Ажан перевела ноготь к следующей строчке.

— Здесь записан звук в коридоре. Ты испугалась?

Лейла вспомнила хлопок двери. В памяти он был громче, чем тогда.

— Да.

— Но продолжила. Он отметил возвращение к заданию, а не отсутствие страха. От испуга одни замирают, другие делают лишнее. Важно, что происходит потом. И всё равно это придётся проверять ещё раз, в другой день.

— А голос? — спросила Афродита.

— Держится ли он на вопросе. Или бежит за чужим одобрением. Сам по себе тихий голос не доказывает ничего.

— Люба громко кричала, когда приезжала мать, — сказала Лейла.

— Чего она хотела?

— Чтобы та её забрала.

— А ты говорила тихо. Ты хотела остаться?

Лейла посмотрела на фотографию. На девочку, которая смотрела мимо объектива на сломанные часы.

— Я не знала, куда меня повезут.

Ажан ничего не дописала. Только отвела ноготь от строчки — и Лейла поняла, что ответ засчитан именно потому, что был неудобным.

Во второй строке значилось: «Условие удерживается после повторения».

Лейла простучала по столу тот рисунок, который ещё помнила: два близких удара, пауза, третий.

— Здесь отмечен ранний ответ, — сказала Ажан.

— Это было в первый раз.

— А потом?

— Он велел ждать, пока уберёт руку.

— Значит, задач было несколько. Услышать. Удержать. Не начать раньше времени. Изменить действие после замечания. Хорошая память не выполнит за тебя остальные три.

Она задала новый рисунок и велела повторить, когда положит мел.

Лейла ждала. Ажан тем временем спросила Кармен про вчерашний дом, выслушала ответ, уточнила одну деталь. Мел всё это время оставался между пальцами.

Когда он лёг на стол, Лейла уже не была уверена в последнем промежутке. Повторила слишком медленно.

— Правило сохранила, звук потеряла. Завтра попробуем снова.

Ажан провела пальцем ниже.

— А вот это: «Нуждается в смене впечатлений». Твой ответ про запах.

— Я хотела наружу.

— Он решил, что тебя заинтересует сложная работа. Не совсем одно и то же, правда?

Девочка покачала головой.

— То, что человек сказал, то, что мы из этого поняли, и то, что ему на самом деле было нужно, — три разных места. Не живите только средним.

Ажан задержалась на последней записи.

— «Игрушку оставила самостоятельно». Он предлагал взять её с собой?

Лейла кивнула.

— Ты решила, что она тебе больше не нужна?

— Нет.

— А он увидел, что ты умеешь оставлять прежнее. Что было на самом деле?

Она посмотрела на закрытый угол папки. Вспомнила коробку с цветными палочками под вытертым боком; как поправляла её дважды, пока не стало ровно. Рассказывать об этом при всех не хотелось.

— Тамара Ивановна его знала.

— Ты оставила его ей?

Лейла подумала. Поступок в памяти был яснее, чем любые слова, которыми его можно было назвать.

— Она бы не убрала его в шкаф.

Ажан перечитала строчку. Не дописала ничего и не зачеркнула. Лейла так и не поняла, поверила ли она.

К концу занятия фотография снова оказалась возле её локтя. Девочка протянула руку.

— Можно взять?

— Карточка остаётся в деле.

Она убрала ладонь. Ажан аккуратно совместила края листов, закрыла папку и сказала, что на сегодня довольно.

Вечером Лейла поймала себя на том, что помнит снимок лучше, чем собственное отражение в зеркале. На фотографии была девочка, которой больше не существовало, и она лежала в чужом шкафу, в чужой папке, под чужой фамилией.

Взять её обратно было нельзя.

VIII

В зеркальный зал Лейлу впервые привели в десять лет.

Вход был в конце коридора, которым обычно не пользовались. Она знала, что там занимаются старшие, и раньше пыталась угадать по звукам, что именно там делают. Чаще всего не слышала ничего. Иногда доносился голос — одна короткая фраза, — и снова наступала тишина.

Зеркала стояли не кругом: две длинные стены отражали друг друга, торцевую закрывала серая штора. От этого зал уходил в обе стороны дальше, чем позволял дом.

Лейла увидела свою спину. За ней ещё одну. И дальше — множество маленьких лиц, в которых глаза уже нельзя было различить.

Виктор Алексеевич попросил пройти зал поперёк.

Она пошла как обычно — легко, почти не касаясь пола каблуками. Он остановил её на обратном пути.

— Теперь в носках.

Лейла посмотрела на него.

— Ходить ты умеешь, — сказал он. — Мне нужно, чтобы ты в это время могла думать о другом.

Туфли остались у двери. Пол оказался прохладным даже сквозь ткань. Она прошла, стараясь двигаться ещё тише, и к концу дорожки обнаружила, что задерживает дыхание.

— Слышишь себя?

— Да.

— А раньше слышала?

Она подумала и покачала головой.

Он велел повторить, не стараясь быть бесшумной. Сначала обычный шаг. Потом медленный перенос веса. Под носком не должно было возникать резкого удара, но и держаться на цыпочках, как она попробовала, не требовалось.

— Пол тебя не гонит. Зачем ты от него убегаешь?

Лейла распрямила пальцы, которые сами поджимались в носках. Вес лёг на стопу шире. Первый шаг вышел тяжёлым. Второй — мягче.

Занимались короткими отрезками, садились, снова вставали. После перерыва прежняя привычка вернулась.

На следующей неделе он поставил у стены стул и велел подойти, сесть и ответить на вопрос. Пока она следила за походкой, забыла, о чём её спросили.

— Значит, пока ты умеешь только ходить. Это тоже начало.

Через месяц она пронесла через зал чашку воды и не расплескала — но остановилась, прежде чем заговорить. Ещё через несколько занятий ответ пришёл без остановки.

И только тогда Виктор Алексеевич попросил повторить всё в туфлях. Навык, который жил отдельно от обуви, его не устраивал.

Ажан работала с ними в том же зале после обеда.

Повторять чужую улыбку у Лейлы получалось быстро: она видела, насколько опускается нижняя губа, где натягивается кожа у крыла носа, как меняется расстояние между веками. Но когда требовалось не повторить, а обратиться к кому-то, лицо делалось слишком правильным.

— Ты оставляешь глаза сторожить, пока рот разговаривает, — сказала Ажан.

Лейла посмотрела на себя в зеркало. Всё действительно было на месте. Именно это и мешало.

— Вспомни случай, когда тебе не пришлось придумывать улыбку.

Она вспомнила прищепку на рукаве нянечки Зои — и вдруг увидела не прищепку, а Тамару Ивановну: как та сначала не понимала, почему девочка смеётся, и оглядывала себя.

Угол рта поднялся сам, раньше, чем Лейла успела ему помочь.

— Теперь повернись к Кармен.

При повороте улыбка исчезла. Кармен была здесь, а Тамара Ивановна оставалась там; соединить два места не получилось.

— Вот с этим и будем работать, — сказала Ажан.

На другом занятии надо было удерживать выражение лица, пока остальные задают вопросы. Афродита запуталась и попросила начать сначала. Кармен напомнила Лейле, как однажды та заснула над тетрадью и вышла к ужину с зеркальной надписью на щеке.

У Лейлы вспыхнули щёки.

— Что было до того, как стало горячо? — спросила Ажан.

— Я вспомнила.

— Это уже после. А до воспоминания?

Девочка прислушалась к себе. Хотелось отвернуться, убрать лицо, будто надпись всё ещё могла быть видна.

— Захотела спрятаться.

Повторили. Воспоминание осталось, а краска не вернулась. Чем больше Лейла старалась её вызвать, тем холоднее становились щёки.

— Не выдавливай кровь силой мысли, — остановила её Ажан. — Чувство можно себе приготовить. Тело не обязано каждый раз отвечать одинаково. Актрисы, которые этого не понимают, к сорока годам становятся невыносимы.

Вечером Лейла сидела перед маленьким зеркалом в своей комнате и смотрела, как из всех испробованных лиц медленно возвращается обычное.

Над левым виском темнела родинка.

Её не нужно было вспоминать или вызывать. Она была там всегда — единственное на этом лице, что не зависело ни от задания, ни от учителя, ни от имени.

Лейла погасила лампу. Рука ещё несколько секунд оставалась возле щеки.

IX

Афродиту на самом деле звали Олей.

Она сказала это шёпотом, давно, когда обе были маленькими и Лейла ещё путалась в новых именах. И сразу попросила никому не говорить.

Лейла не говорила. Даже потом, когда привыкла к имени так прочно, что прежнее стало приходить на ум с опозданием, как перевод.

Оля исчезла в ноябре того года, когда Лейле исполнилось одиннадцать.

Накануне на занятии Оля не смогла продолжить этюд. Забыла, откуда приехала её вымышленная героиня. Потом забыла настоящее название города, из которого привезли её саму. Закрыла уши ладонями и начала повторять, что хочет тишины — ровным голосом, не плача, и от этого было страшнее.

Ажан попросила всех выйти. В дверях Лейла успела обернуться и увидела, как учительница сама опускается на пол рядом с девочкой. Жемчуг лёг на тёмную ткань платья тяжёлым маленьким полукругом.

Утром места Оли за столом не было.

Не пустой стул — стул убрали совсем, и между оставшимися стало просторнее. Кто-то передвинул приборы, чтобы расстояния снова вышли равными.

— Она продолжит обучение в другом месте, — сказала Нина.

— В каком? — спросила Кармен.

— Там, где ей будет легче.

Лейла подумала о враче из города, который называл её Алисой и записывал ответы в бланк с печатью. Хотела спросить, можно ли написать Оле письмо. Но Нина уже объявляла расписание индивидуальных занятий, и Лейле достался дополнительный час у Ажан.

В раздевалке осталась одна варежка — белая, с красным оленем. Вторая, наверное, уехала.

Лейла подержала её за длинную нитку и положила на верхнюю полку, на видное место.

На другой день варежки там не было.

Вечером Кармен пришла к дальнему окну в конце коридора, где они иногда встречались. От лестницы сюда доставал свет, но с поворота лиц было не видно.

— Они нас любят? — спросила Кармен.

Лейла долго не отвечала.

— Ажан к ней села. К Оле.

— Села.

— Значит, не всё равно.

Кармен провела ногтем по старой трещине в подоконнике.

— Нине тоже не всё равно, остыла у тебя каша или нет.

Это было несправедливо. Нина прикладывала прохладную ладонь ко лбу, когда болела голова. Помнила, кто не ест рыбу. Не будила сразу, если девочка задремала после трудного дня.

Лейла знала всё это и не нашла, что ответить. Потому что всё это было правдой — и ничего из этого не отменяло пустого места за столом.

— Когда смогу выбирать сама, я здесь жить не буду, — сказала Кармен.

— А где?

— Ещё не знаю.

Лейла хотела спросить, кто тогда будет её учить. И поняла, что Кармен ответит честно, и что ответ ей не понравится.

Из-за поворота послышались шаги. Кармен отошла первой.

Лейла постояла ещё немного, глядя в чёрное стекло, в котором отражался только коридор у неё за спиной. Потом вернулась к себе и раскрыла тетрадь к дополнительному часу.

X

В тринадцать лет она впервые получила задание поговорить с человеком, который не знал, что он — задание.

Это произошло в середине лета.

В июле усадьба теряла свою зимнюю замкнутость и превращалась в большой старый сад: яблоневая аллея в пятнах света, густые заросли смородины вдоль каменной ограды, высокая трава у дальних дорожек. Стояла сухая, ветреная жара. Воздух горчил от полевой пыльцы и густо пах свежескошенной зеленью, нагретой землёй и тёплым смородиновым листом.

Мальчику было четырнадцать. Круглое, ещё по-детски мягкое лицо, выгоревшие до белизны брови и не по возрасту тяжёлые руки с въевшейся в кожу землёй — руки человека, рано узнавшего взрослую работу. Сын кого-то из местных, пристроенный в помощь садовнику на летние месяцы.

Утром мадам Ажан положила перед Лейлой узкий лист и коротко обозначила задачу:

— Твоя цель сегодня в саду. Поговори с мальчиком. Узнай, чего он боится и чего хочет. Не задавая этих двух вопросов прямо.

Лейла вышла из дома спустя час, когда солнце поднялось высоко и полуденный зной стал вязким.

Подросток подрезал живую изгородь у дальней стены, с заметным усилием сводя тяжёлые садовые ножницы. Лезвия глухо лязгали, сминая жёсткие ветки; от свежих срезов тянуло терпким зелёным соком и нагретым железом. Лейла подошла почти неслышно — тем плавным, выверенным шагом, который давно стал её природой, — опустилась на деревянную скамейку поодаль и затихла.

Она умела ждать. Не от скуки, а со спокойным знанием человека, понимающего: тишина работает глубже и вернее слов. Ветер шевелил сухую траву у её щиколоток и трогал тёмную прядь у виска, а она сидела прямо, положив узкие ладони на колени, будто составляла со скамьёй и тенью старой яблони одно целое. От неё веяло домашней прохладой и чистым полотном; рядом с его шумной, неловкой работой эта глубокая неподвижность постепенно наливалась тяжестью, которую невозможно было оставлять за спиной.

Через минуту лязг металла оборвался. Мальчик сдался под нажимом её безмолвного присутствия и обернулся.

— Привет, — негромко сказала Лейла.

— Привет…

Он встретился с её взглядом — спокойным, тягучим, цвета тёмного янтаря — и вдруг густо, рефлекторно покраснел до самых ушей, разом ощутив и свою взмокшую на лопатках рубашку, и перепачканные землёй пальцы. В её лице, в тонкой восточно-северной лепке скул и недетской глубине глаз было нечто такое, от чего люди невольно терялись, словно их застали врасплох.

Лейла отметила эту вспышку краски так же тихо и цепко, как запоминала оттенок запаха или перемену света, сохранив на лице ту ровную, мягкую ясность, рядом с которой чужая неловкость утихала сама собой.

— Жарко, — произнесла она.

Слово легло между ними простым утверждением факта, уравнивая пространство: одно солнце и один душный полдень на двоих.

— Да, — выдохнул он, чуть опуская плечи.

— Любишь лето?

Он пожал плечами, отложил тяжёлый кусторез в траву, обтёр ладони о штанины и устроился на земле чуть поодаль, развернувшись к ней лицом.

— Нормально. Летом полно работы.

— Помогаешь отцу?

Повисла короткая пауза. Лейла мгновенно почувствовала, как слово «отец» задело внутри него что-то скрытое и болезненное — невидимое глазу, но ощутимое, как туго натянутая в темноте нить. Дыхание мальчика стало короче.

— Да, — ответ прозвучал суше и отрывистее прежних.

Она оставила эту нить в покое. Малейший нажим заставил бы его замкнуться. Вместо этого Лейла мягко увела разговор в сторону — к простым, ни к чему не обязывающим вещам: спросила о деревне за лесом, о пыльной дороге вдоль вырубки, о мелкой запруде у лесопилки и о том, куда они уходят с мальчишками, когда выдаётся свободный час.

Поначалу он отвечал односложно, глядя больше на сорванный стебель в своих пальцах, чем на собеседницу. Потом фразы стали длиннее, голос — ровнее и глуше.

Лейла слушала всем существом, не торопя и не перебивая. Она не ждала своей очереди заговорить и не искала поводов перехватить беседу — она впитывала. Её спокойное дыхание задавало разговору размеренный, убаюкивающий ритм; когда он запинался, подбирая слово, она бережно удерживала паузу, превращая молчание из помехи в убежище. В её глазах стояло то редкое, почти гипнотическое внимание, рядом с которым человек перестаёт защищаться, потому что чувствует: его видят целиком и не судят. Люди редко встречают такую тишину — и всегда на неё откликаются.

Спустя полчаса он заговорил о матери.

Сам, без единого вопроса с её стороны — просто потому, что чужое глубокое молчание вытянуло со дна самое тяжёлое. Мать болела уже второй год — тяжёлое лёгочное, обострявшееся с каждой сырой осенью. Отцовского заработка на лесопилке едва хватало на самое простое, а нужны были дорогие лекарства и поездки к врачам в область. Отец за эти два года сдал, почернел лицом и по вечерам только молча сидел у стола. Поэтому мальчик с весны впрягся в любую подённую работу наравне со взрослыми мужиками: колол дрова, косил чужие участки, нанимался в сад — откладывал каждый рубль, пытаясь закрыть собой прореху, для которой был ещё слишком мал.

Страхи выходили из него один за другим, глухо и безоглядно, словно он и сам удивлялся собственной откровенности перед незнакомой девочкой в саду чужого особняка. Он боялся скорых осенних дождей и тяжёлого ночного кашля за тонкой перегородкой, когда весь дом лежит в темноте и притворяется спящим. Боялся, что денег на лечение всё равно не хватит, сколько ни работай, что его четырнадцатилетних рук слишком мало, чтобы что-то изменить. А поверх всего лежал главный, ледяной ужас, который он не решался назвать вслух даже себе: однажды вернуться вечером с работы к притихшему дому и понять, что он опоздал — так и не успел ни вырасти, ни спасти её.

Лейла сидела неподвижно. Привычные слова сочувствия скользили в уме, но каждое отдавало фальшью, и она слышала эту ложь безошибочно. Жалость только ранила бы его гордость, совет прозвучал бы пустым звуком. Она дала ему другое — чистое присутствие. Просто оставалась рядом внутри его беды, разделяя с ним тяжесть летнего воздуха.

Когда поток слов иссяк и мальчик затих, опустив взгляд в сухую траву у своих колен, Лейла негромко произнесла:

— Ты мечтаешь увидеть море.

Он резко вскинул голову.

— Ты сказал. В начале.

Он давно успел забыть случайно обронённую в первые минуты фразу, мелькнувшую среди рассказов о деревенской речке и душном лете. Но Лейла выловила её из общего потока — мимолётную, невесомую для него самого, однако безошибочно выдавшую живую тоску голоса.

После паузы он ответил тихо, с обнажённой, беззащитной искренностью:

— Да. Очень.

Помолчал и вдруг коротко, растерянно усмехнулся — словно выдохнул остаток скопившейся в груди тяжести.

— Странно. Я тебе это сказал, а сам забыл.

— Не забыл. Просто не думал, что это важно.

Он посмотрел на неё внимательнее прежнего, словно впервые разглядел по-настоящему.

— А ты почему запомнила?

Лейла ответила не сразу. Порывом ветра пригнуло траву у края аллеи; девочка проводила эту светлую волну взглядом и лишь затем вернулась к его лицу.

— Потому что это было единственное, что ты сказал не для того, чтобы ответить на вопрос.

Он тихо, неожиданно рассмеялся. И она рассмеялась тоже — коротко, легко, неожиданно для самой себя, тем живым, свободным смехом, который за три года ни разу не получился у неё перед зеркалами учебного зала.

В эту минуту со стороны хозяйственных построек его окликнул садовник. Подросток поднялся с травы, подобрал кусторез, но ушёл не сразу. Задержал на Лейле долгий, обезоруженный взгляд — как человек, переживший внезапный гипнотический сеанс и ещё не понимающий, отчего внутри стало так просторно и тихо.

— Спасибо.

Причина благодарности осталась невысказанной, но ясной им обоим.

Он зашагал прочь по дорожке. Лейла осталась на скамейке. В окне второго этажа тёмным силуэтом стояла мадам Ажан; девочка ощущала плотную тяжесть этого взгляда сквозь стекло и продолжала смотреть ровно перед собой, в зелёную глубину сада, пока фигура за рамой не отступила внутрь комнаты.

В голове бились мысли о море. О незримом родстве двух людей, одинаково лишённых доступа к большой воде — каждый за своей оградой. Тихая, почти безнадёжная мечта этого деревенского мальчишки встать когда-нибудь перед открытым горизонтом равнялась по силе её собственному желанию жить по-разному каждый день — такая же глубокая, подёрнутая глухой обречённостью.

В груди шевельнулась острая, обжигающе настоящая жалость. К нему. И отчасти к себе.

Она погасила это чувство мгновенно — чуть сжала пальцы, медленно выдохнула и поднялась со скамьи. В точном соответствии с тем, чему её учили.

В прохладном полумраке холла её уже ждала мадам Ажан:

— Результат?

— Боится потерять мать и не успеть ей помочь. Хочет увидеть море.

— Отлично, — Ажан сделала тонкую пометку на утреннем листе.

— Всё это было лишь учебным заданием, — произнесла Лейла. Спокойно, как утверждение, требующее скрепляющей печати.

— Именно так.

— Он оставался в полном неведении.

— Разумеется.

Повисла короткая пауза.

— Ему стало легче от этой исповеди, — тихо добавила девочка.

Мадам Ажан подняла на неё глаза. По её закрытому, непроницаемому лицу скользнула и тут же бесследно стёрлась едва уловимая тень.

— Побочный эффект грамотно выполненной работы.

Лейла кивнула и поднялась к себе на второй этаж.

В комнате стоял зелёный от листвы полумрак. Она опустилась на край кровати, сложив руки на коленях, и задумалась. Перед глазами вставал подросток, возвращающийся сейчас

домой по пыльной дороге вдоль леса: прямо в эту минуту он уносил в себе то самое подлинное, светлое облегчение, которому никогда не смог бы подобрать точных слов.

Лейла разбирала случившееся медленно и бережно, как привыкла раскладывать сложный запах на отдельные составляющие.

Изначальный повод для их разговора был фальшью — холодным упражнением по чужому заданию. Но каждое произнесённое в саду слово оставалось правдой.

А следом поднималось сомнение тоньше прежнего. Весь этот час она отдавала ему сто процентов своего внимания. Её присутствие рядом с ним было настоящим, без игры и без остатка. Считается ли обманом то, внутри чего твоя искренность была абсолютной?

Ответ ускользал. С этой неразрешённой дилеммой Лейла и уснула вечером, слушая, как за окном шумит на ветру ночной сад.

Эта мысль будет преследовать её долгие годы, меняя обличья и возвращаясь через совсем других людей. Вплоть до того дня, когда тихий внутренний голос окончательно замолчит.

Но это время наступит позже.

XI

В ту ночь она вышла в сад одна.

День был жарким, и дверь на террасу после ужина оставили приоткрытой — обычно её запирали перед обходом. Спустившись за водой, Лейла увидела внизу горящую настольную лампу и пустое кресло рядом с ней. Из кухни доносился голос Нины: она говорила по телефону про посылку и про то, что под Вологдой опять дожди.

Лейла постояла на нижней ступени.

Потом прошла мимо террасы — как проходила каждый день — и у самой двери остановилась.

Из щели пахло травой.

Она вышла.

С крыльца были видны фонари и дорожка до хозяйственных построек. У яблонь свет кончался. Лейла сошла на траву; носки туфель сразу потемнели. Она вернулась на ступеньку, сняла их и ступила на газон босиком.

Роса прошла между пальцами. Земля оказалась неровной: под внешним краем стопы перекатился жёсткий комок. Пришлось переставить ногу не так, как учил Виктор Алексеевич.

Она переставила.

Никто этого не оценивал. Впервые за восемь лет движение не значило ничего, кроме себя самого.

За забором далеко прошла машина. Звук поднялся, стал объёмным и медленно ушёл. Лейла слушала, пока не перестала отличать его от шелеста листьев. В траве стрекотало что-то мелкое и невидимое. Здесь не нужно было знать, кто именно издаёт этот звук, и записывать вывод в колонку «предполагаю».

Она села на край пустой садовой скамьи. Подол коснулся мокрой травы и начал темнеть. Лейла подобрала его, потом отпустила.

Завтра Павел мог приехать. Мог не приехать.

Врач мог согласиться поговорить с его матерью. Мог отказать.

В классе каждое упражнение имело конец, после которого становилось известно, кто сделал правильно. Здесь ответ всё время отодвигался, оставляя её на скамье с руками, которым нечего было поручить.

Она вспомнила лисёнка — и внезапно, очень ясно, вспомнила запах под его вытертым ухом. Не весь детский дом. Не хлорку, не кашу, не молоко, не мокрую шерсть. Только тёплую пыль и слабый дух старой нитки.

Тогда ей казалось, что запах можно оставить в комнате вместе с игрушкой и уйти дальше налегке.

Он был здесь.

Тринадцатилетняя Лейла сидела в чужом саду, а её нос всё ещё помнил то, к чему прикасалась пятилетняя Алиса. Из всех способов хранить прошлое этот оказался единственным, которого у неё не отобрали, — потому что о нём никто не догадался спросить.

Она подняла голову. Между ветвями оставалось немного неба, но звёзды там были настоящие, не точки на школьной карте. Она смотрела на них, как на нечто неизменное.

Когда она вернулась, Нина стояла у стола в нижнем коридоре.

Посмотрела на босые ноги. Потом на туфли в руке.

Лейла уже приготовила ответ.

Нина принесла полотенце и положила на стул.

— Сначала вытри. Пол будет мокрый.

Она не спросила, где та ходила. Лейла села, вытерла ступни, надела туфли — и впервые за вечер ей захотелось сказать что-нибудь лишнее, просто чтобы услышать ответ.

Но Нина уже закрыла верхнюю страницу своего блокнота и понесла телефон на место.

Утром за окном разгружали инструмент. Лейла услышала знакомое трение доски о доску и подошла к стеклу.

Возле навеса стояли двое взрослых.

Павла не было.

На занятии Ажан вернула ей лист. На утренней странице уже стояли две строки, написанные её ровным мелким почерком: «Боится потерять мать. Хочет увидеть море».

— Проверили, — сказала Ажан. — Мать больна второй год. Отец работает на лесопилке. Мальчик нанялся в сад с весны и отдаёт деньги домой. Всё сходится.

Лейла смотрела на две строки. Они были точные и короткие, и в них не оставалось ничего от того, как трудно было их услышать.

— Здесь не хватает третьей, — сказала Ажан и подвинула лист. — Впиши сама.

Лейла взяла ручку. Подумала — недолго, но всерьёз. И написала: «Он поверил, что его слышат».

Ажан прочла. Не улыбнулась, не похвалила сразу. Только отложила лист и посмотрела на девочку так, будто видела её впервые.

— За тридцать лет я видела, как это делают человек двадцать. Из них пятеро не врали. Из пятерых трое умели слушать. А чтобы человек после разговора ушёл с чувством, что его не разобрали, а услышали, — таких было двое. Ты третья.

Она помолчала.

— Это не техника. Технику можно выучить, и тогда ты будешь просто хорошо работать. Здесь работает другое. Ты умеешь быть рядом так, что человек перестаёт защищаться. Это не приём, это ты.

Лейла смотрела на лист. Третья строка была её собственными словами, и это было странно — видеть их на бумаге рядом с чужими.

— У меня ещё будет такое задание?

Ажан встала.

— Будет. Много.

Она закрыла папку.

— Иди. Отдохни. Завтра начнём всерьёз.

Лейла вышла из класса и только на лестнице поняла, что всё это время держала ручку в кулаке. Она разжала пальцы и бросила взгляд на свои туфли. На внутреннем крае одной осталась узкая полоска тёмной садовой земли.

Она заметила её ещё когда выходила — и тогда же поставила ногу чуть иначе, чтобы полоску не было видно.

Это была первая вещь, которую она спрятала от них сама.

Глава третья. Анатомия порока

«Понимать чужую боль — ещё не милосердие. Хирург и допросчик ищут нерв в одном и том же месте».

I

К пятнадцати годам Лейла научилась узнавать собственное лицо не сразу.

После занятий в зеркальном зале оно возвращалось постепенно: сначала расслаблялся рот, потом исчезало внимательное выражение, которое она ещё продолжала кому-то предъявлять, хотя в комнате уже никого не было. Дольше всего оставались чужие движения. Однажды за ужином она отодвинула стакан двумя пальцами, как делала на уроке Рита, и Нина спросила, не болит ли рука.

Рука не болела. Лейла поставила стакан обратно всей ладонью.

Осенью того же года её переселили в комнату этажом выше. Окно выходило на тот же сад, но теперь между подоконником и яблонями лежала крыша террасы. В дождь по ней стучало так громко, что приходилось переставлять стул к противоположной стене. Никто не спросил, нравится ли ей наверху. Зато разрешили самой выбрать обои.

Она выбрала почти белые.

Кармен уже второй год жила не в усадьбе. Время от времени приезжала на несколько часов; пальто она снимала, но вешала не в шкаф, а на спинку стула; сумку ставила у ноги — будто сесть по-настоящему не решалась. От неё пахло метро, другими лестницами, иногда незнакомой едой. Лейла старалась не подходить слишком близко, чтобы не выдать, с какой жадностью различает эти запахи.

В один из приездов Кармен привезла узкий гребень и журнал. На обложке женщина смотрела через голое плечо; её лицо было высветлено до такой гладкости, что Лейла долго искала, где кончается щека.

— Не нравится? — спросила Кармен.

— Там кожи нет.

Кармен рассмеялась и раскрыла журнал посередине. Они сидели на кровати, перебирали страницы, и несколько минут всё было как прежде: можно было не выбирать слова заранее.

Потом Кармен ушла вниз, а Лейла подошла к зеркалу с гребнем в руке.

Анфас ей нравился больше, чем вполоборота. При повороте на спинке носа проступала небольшая горбинка. В зеркале у окна она была почти незаметна; стоило перенести зеркало под лампу — появлялась снова. Лейла проверила это дважды.

Ажан застала её за третьей попыткой.

— Что ищешь?

Девочка не стала прятать зеркало.

— Здесь линия неровная.

Ажан встала рядом. Их отражения не походили друг на друга ни возрастом, ни сложением, но взгляд у обеих задержался на одном месте.

— Ты хочешь, чтобы лицо ничем не запоминалось?

— Я хочу понять, мешает ли это.

— Кому?

Лейла чуть повернула голову. Горбинка опять исчезла.

— На фотографиях её убирают.

— На фотографиях убирают и возраст. Пока это никому не помогло.

Ажан взяла лежавший на столе журнал, взглянула на обложку и положила обратно.

— Красота без характера — это гладкие обои. Красота с характером — это живопись.

Лейла посмотрела на почти белую стену.

— Обои я выбрала сама.

Ажан засмеялась. Это был не тот смех, которым она смеялась на уроках, — сухой, короткий, будто из неё на секунду вышла учительница, а осталась женщина, которая много чего повидала.

— Их можно переклеить. Лицо оставь в покое.

Она пришла напомнить о вечернем уроке и ушла. Лейла осталась перед зеркалом. Ей понравилось, что горбинка не подчинилась свету: пряталась, но не исчезала. Проводя гребнем по волосам, она впервые рассматривала профиль не как неудавшийся фас.

II

Восемнадцатого февраля две тысячи четырнадцатого года Нина поставила возле её чашки небольшую коробку.

Внутри лежали часы.

Стальной корпус потускнел у головки, на тёмном ремешке сохранилась чужая вмятина. От края стекла к цифре семь тянулась тонкая трещина. Лейла наклонила коробку: трещина поймала свет и на мгновение разделила циферблат надвое.

— Они ходят, — сказала Нина. — Мастер проверял.

— Чьи?

— Мадам Ажан просила передать.

Лейла не повторила вопрос. Достала часы из гнезда, повернула заводную головку. Механизм отозвался сухим частым тиканьем. На обратной стороне корпуса были выгравированы цифры: 1958.

Её шестнадцатилетие уместилось в нескольких поздравлениях за столом. После завтрака остальные разошлись по занятиям; она ещё сидела, прислушиваясь к запястью. В отличие от комнатных часов, эти надо было поднести к уху. Звук принадлежал только тому, кто приблизился.

Ажан ждала в малом классе.

— Благодарю вас, — сказала Лейла.

— Не заводи через силу. Почувствуешь сопротивление — остановись.

— Они были ваши?

— Были.

— Почему вы их отдали?

Ажан поправила стопку карточек.

— Мне захотелось.

Прежде чем сесть, Лейла сняла часы и снова застегнула их, на одно отверстие туже. Ажан следила за её пальцами.

— Если ремешок неудобен, поменяем.

— Он удобен.

Ей хотелось спросить, что означает год на корпусе. Но вопрос уже прозвучал бы иначе: не о вещи, которую ей подарили, а о жизни, к которой вещь прикасалась. Пока Ажан не предлагала говорить об этом.

Лейла убрала руку под стол. Тиканье осталось с ней. Радость отделялась от осторожности, с какой теперь хотелось беречь не только часы, но и женщину напротив. Подарок создавал что-то, чего прежде у неё не было; она ещё не знала, что именно.

На столе лежали три фотографии одного мужчины: за трибуной, на палубе яхты, возле больничной кровати. На последней он держал за плечо пожилую женщину; Лейла заметила, как неудобно подвёрнут его пиджак.

— Что скажешь?

— Привык распоряжаться. И хочет, чтобы это было видно.

— На каком снимке?

Она показала первый. Мужчина у трибуны выставил ладонь вперёд, будто останавливал зал.

— Возможно, — сказала Ажан. — А может быть, просит тишины, потому что плохо работает микрофон. У тебя будет случай спросить?

— Нет.

— Тогда не выдавай начало за конец.

Она написала на доске три слова: «Силовик», «Мыслитель», «Наследник».

— Не профессии. И не диагнозы. Мои названия для трёх привычных способов добиваться своего. В первом случае человек нажимает. Во втором объясняет, почему его решение единственно разумное. В третьем ждёт, пока мир обслужит его желание. Всё это может делать один и тот же человек до обеда.

Лейла посмотрела на снимок у больничной кровати.

— А если он не добивается?

— Тогда не мешай ему этим заниматься.

Первый этюд разыгрывали с приглашённым преподавателем хозяйственных дисциплин. Теперь он представлял владельца типографии. Лейла должна была договориться о печати школьного сборника и сохранить срок, оговорённый в условии.

Он сразу предложил другой срок. Лейла возразила. Он повысил голос; она выдержала паузу и повторила требование, отчётливо, без оправданий.

Через три минуты у них не было ни заказа, ни согласия.

Ажан остановила этюд.

— Почему ты решила, что он проверяет твою твёрдость?

— Он сразу начал менять условия.

— А почему?

Лейла перечитала карточку. Дата школьного вечера была напечатана внизу. Выше стоял объём тиража.

— Спросить про загрузку?

— Уже поздно. Сейчас спросишь — он услышит поиск слабого места. Начни сначала.

Во второй попытке выяснилось, что предложенный срок означал ночную смену, на которую не хватало людей. Это было написано на карточке её собеседника. Он мог принять работу по частям, но она не оставила места для такого предложения.

Лейла разделила заказ. Они договорились.

— А если бы он всё-таки проверял меня? — спросила она после урока.

— Ты получила бы отказ по другой причине. И стала бы разбираться с ней. Тебе хотелось поскорее узнать, кто перед тобой. Поэтому ты перестала узнавать, что происходит.

Лейла убрала фотографии в конверт. Изображение мужчины на яхте осталось сверху. Раньше она назвала бы его самодовольным. Теперь видела только, что он щурится и держит бокал за ножку, хотя напитка почти не осталось.

Этого было мало. Приходилось терпеть незнание.

III

Следующие занятия не походили на три аккуратно разложенные папки.

Рита играла человека, которому предложили вложиться в издательский проект. Перед началом она попросила Ажан не показывать ученице её условие. Лейла должна была сама понять, о чём здесь возможно договориться.

Собеседница листала смету медленно, находила мелкие неточности, возвращалась к одному и тому же абзацу. Деньги её словно не занимали. Она спрашивала, кто будет читать рукописи и почему решили печатать именно этих авторов.

Лейла почувствовала знакомое удовольствие: наконец человек, который слышит не только цифры. Она ответила подробнее, чем требовалось. Потом сказала:

— Вам важно, чтобы здесь не пропало то, ради чего всё начиналось.

Рита закрыла папку.

— Вы меня второй раз видите. Откуда вам известно, что мне важно?

Лейла помолчала.

— Я неверно выразилась.

— Нет. Вы очень хорошо выразились. Именно это мне и не понравилось.

Этюд кончился. На карточке Риты стояло: «Разбирается в литературе. Не доверяет разговорам о своей исключительности. Хочет проверить, умеют ли составители работать».

— Но ей действительно было важно, — сказала Лейла.

— И что? — спросила Ажан. — Ты увидела верно. А разрешения войти не получила.

Лейла долго смотрела на закрытую папку. В саду с мальчиком всё произошло иначе: он сам оставил место, в которое она могла войти. Здесь она приняла точность за право.

Повторять ту же сцену Рита отказалась.

— Теперь я знаю, что она будет осторожничать. Пусть попробует с другим.

Другой оказался Берестов. В роли человека, унаследовавшего издательство, он сидел боком к столу и говорил о книгах с таким ленивым презрением, что Лейле захотелось закончить встречу.

Она не стала стараться понравиться. Достала свои заметки и занялась ими.

— Прекрасно, — сказал Берестов. — Вы заняты. Я тоже. До свидания.

Он встал.

Лейла подняла глаза на Ажан.

— Я не стала его развлекать.

— Заметила. Ты ещё перестала предлагать ему хоть что-нибудь. Это разные решения.

Берестов сел обратно и попросил начать с того места, где он назвал отцовский каталог «кладбищем правильных людей». Лейла снова услышала раздражение, но на этот раз заметила: он не отрицал ценности книг. Ему хотелось отделить их от чужого имени на обложке каталога.

Она предложила отвести небольшую часть программы новым авторам, которых он выберет сам. Берестов спросил о деньгах. На этот вопрос у неё был ответ.

Позже он признался, что придумал половину характера по дороге в класс. Условие содержало только сведения об издательстве и сумму, которой он вправе распорядиться.

— Вы могли сыграть иначе, — сказала Лейла.

— Разумеется. У меня сегодня хорошее настроение. Вчера я бы с тобой вообще не разговаривал.

Это раздражало сильнее неудачи: правильного ответа не существовало.

Через неделю тот же преподаватель хозяйственных дисциплин играл человека, который охотно обсуждал искусство, но попытался в последний момент переложить расходы на неё. Лейла уже почти согласилась, когда услышала в его фразе знакомое «это же просто формальность».

Она вернула лист на его половину стола.

— Тогда оставим его до завтра. Я должна пересчитать.

Он перестал улыбаться. Впервые за занятие разговор стал деловым.

Ажан сидела у окна, не вмешиваясь. После она спросила, что изменилось.

— Я перестала играть по его правилам.

— А как стала?

Лейла подумала.

— Стала смотреть, что он делает.

В тот вечер она не переписала в тетрадь названия трёх типов. Записала три разных отказа — и что услышала перед каждым из них.

IV

Андрей Николаевич принёс новую запись в марте.

На экране женщина стояла возле стола и держала телефон. Мужчина в глубине комнаты, вполоборота к ней, перебирал бумаги. Звука сначала не было.

Женщина несколько раз взглянула на дверь. Мужчина поднял голову, сказал что-то, и она улыбнулась одним ртом. Потом положила телефон экраном вниз.

Лейла почувствовала, что знает эту улыбку. Так улыбались, когда хотели избежать ещё одного неприятного разговора.

— Что произошло? — спросил Андрей Николаевич.

— Он требует объяснения. Она собирается уйти.

— Это ты увидела или достроила?

— Телефон спрятала.

Он вернул запись на несколько секунд назад.

Телефон она положила. Экраном вниз. Всё остальное было словом, которое Лейла сама выбрала для движения.

Звук дали отдельно, без изображения.

— Он опять звонил?

— Утром.

— И что ты ему сказала?

— Что сказала тебе.

Зашелестела бумага. Мужчина тихо выдохнул.

— Ты же понимаешь, я не могу это просто подписать.

— Я и не прошу просто. Я прошу прочесть.

На этом месте запись остановилась.

— Ревность? — спросила Лейла, но уже без прежней уверенности.

Андрей Николаевич раздал расшифровку. Разговор продолжался ещё две страницы. Речь шла о поручительстве: женщина хотела помочь брату получить заём, а муж отказывался брать на себя обязательства, не прочитав договор.

Лейла снова посмотрела на экран. Телефон перестал быть уликой и сделался телефоном, по которому утром звонил брат.

— А ревности совсем нет?

— Не знаю. Ты её чем подтвердишь?

— Ничем.

— Тогда пока не пользуйся.

Они смотрели эпизод третий раз. Мужчина говорил тихо не потому, что всё решил: ему приходилось перечитывать условия, пока жена ждала ответа. Женщина смотрела на дверь — может быть, торопилась, может быть, не хотела, чтобы их услышали. По этому фрагменту нельзя было выбрать одно.

Лейла спросила, кто дал разрешение на запись.

— Оба, — ответил Андрей Николаевич. — Снимали для семейной консультации. На использование этого отрывка согласились отдельно. Продолжения не будет.

— Почему?

— Потому что разрешили этот отрывок.

Он убрал листы. Карточка с её первым заключением осталась на столе.

На следующем занятии он дал им живого собеседника: Нина пришла обсудить список покупок к приезду гостей. В разговоре требовалось заметить, на каких пунктах она меняет темп, и объяснить почему.

Нина дважды поправила рукав и отвела глаза, услышав вопрос про количество приборов.

Лейла записала: «Не хочет говорить, сколько будет людей».

Потом Нина попросила открыть форточку и достала из-под рукава пластырь. На запястье был свежий ожог; манжета цеплялась за край повязки. Она забыла пересчитать большие тарелки и действительно не знала, сколько полных комплектов можно поставить на стол.

Лейле стало почти смешно от досады. Восемь лет учиться смотреть — чтобы не увидеть ожога.

— Ты заметила движение, — сказал Андрей Николаевич. — Теперь заметила и причину. В другой раз причины не покажут. Что сделаешь?

— Не буду называть её, пока не узнаю.

— А работать как будешь?

Она посмотрела на список.

— Предложу сначала посчитать тарелки.

Он кивнул.

В конце недели Ажан показала ей короткий фрагмент другого занятия. Женщина на экране улыбалась, слушая вопрос; на долю секунды возле носа появилась складка, потом лицо снова стало приветливым.

Лейла попросила остановить запись.

— Отвращение?

— Похоже. К чему?

— К тому, кто спрашивает.

Ажан вернула звук. Женщину просили вспомнить лекарство, которое она в детстве отказывалась пить. Та называла вкус, смеялась и говорила, что до сих пор не переносит запаха аниса.

Лейла наклонилась ближе к экрану. Движение было настоящим. Ошибка заключалась в том, кому она его приписала.

— Рот и нос не сообщают тебе причину, — сказала Ажан. — Ты можешь заметить реакцию. Потом ещё надо понять, на что она возникла. Иногда человек отвечает не тебе, а тому, что в эту секунду вспомнил.

Они просмотрели ещё несколько фрагментов той же беседы без остановок. Лейла замечала короткие движения, но уже не успевала складывать их в готовые названия. Женщина трогала ухо, когда подбирала слово, поднимала одну бровь перед смешным воспоминанием, улыбалась в самых неудобных местах. Чтобы увидеть перемену, приходилось сначала привыкнуть к тому, что не менялось.

На следующем занятии Ажан убрала экран.

— Теперь ты рассказываешь мне про сегодняшний завтрак.

Лейла начала. Старалась удержать лицо, потом поняла, что попала в старую ловушку: внимание ушло на веки и губы, а сама она перестала помнить, что говорит.

— Кто сидел у окна? — спросила Ажан.

Ответить сразу не получилось.

— Вот и выбирай. Либо показываешь мне лицо, в котором не к чему придраться, либо находишься со мной в комнате.

Повторяли уже не рассказ о завтраке, а разговор о книге, которую Лейла читала. Ажан возражала, просила показать место, где она увидела то, о чём говорит. Лейла разгорячилась и забыла про лицо. Когда остановились, учительница велела запомнить не выражение, а ощущение: где лежит книга, что сказала сама, с чем не согласилась собеседница. На собственные брови места не осталось.

Это нельзя было вызвать приказом. Зато теперь было с чем сравнивать.

Вечером, помогая Нине убрать посуду, Лейла сама взяла тяжёлую стопку. Нина уступила её сразу, без благодарности, словно так и следовало сделать. Узкая кисть с повязкой освободилась.

Лейле понравилось, что для этого не понадобилось никакого объяснения.

V

Зазором Ажан называла расстояние между тем, что человек уже получил, и тем, на что продолжает надеяться.

Сначала определение показалось слишком простым. За годы в усадьбе Лейла привыкла, что желанное почти всегда находилось чуть впереди: дополнительные занятия, разрешение поехать в город, следующий уровень языка. Достигнутое переставало считаться событием. На его месте появлялось новое условие.

— А у вас с нами тоже зазор? — спросила она.

Ажан не сразу ответила.

— Конечно.

И велела достать чистый лист.

На урок пришла Рита. Сегодня она была художницей, которую приглашали сделать декорации. Лейле требовалось удержать её интерес, не обещая ни денег, ни выставки: решение о финансировании ещё не приняли.

Она рассказала о замысле. Рита оживилась, стала задавать вопросы, пододвинула лист, на котором Лейла сделала набросок сцены. Угол бумаги оказался под локтем Риты.

— Значит, можно начинать?

— Я думаю, у нас хорошие шансы.

— Я спросила не про шансы. Мне на следующей неделе отказываться от другой работы?

Лейла выдержала паузу. Не торопиться отвечать, не разрушить возникший интерес — это она умела.

Рита придвинула набросок ещё ближе.

— Понятно. Отказываюсь.

— Я этого не сказала.

— А я услышала. Ты видела, что я услышала. И промолчала.

Ажан попросила обеих остановиться.

Лейла ждала, что её поправят за слишком длинную паузу. Но учительница спросила, в какой момент она собиралась сказать о финансировании.

— Когда она согласится участвовать.

— Значит, согласие должно было появиться раньше условия, от которого оно зависит.

— Вы велели сохранить интерес.

— И ты сохранила. Теперь смотри, чем заплатила.

Рита убрала набросок со стола и заговорила своим голосом:

— Если мне завтра предложат настоящую работу, я откажусь ради твоих хороших шансов. Послезавтра выяснится, что денег нет. Для тебя это будет несостоявшийся проект. Для меня — неделя без заработка.

Лейла молчала. Ей не нравилось, что удачный приём продолжал действовать и после объяснения: часть её всё ещё хотела вернуть Рите интерес, не отдавая ничего определённого взамен.

Во второй попытке она сразу сказала, чего именно пока не знает. Рита стала холоднее. Пришлось договариваться о маленьком оплаченном эскизе вместо всей постановки.

— Гораздо слабее, — сказала Ажан.

Лейла подняла на неё глаза.

— Зато она не потеряла неделю.

— Верно. Ты должна уметь видеть оба результата. Не делай вид, что их всегда можно получить одновременно.

После урока Ажан оставила её одну и велела повторить первую сцену — теперь сознательно, с точным пониманием, что услышит собеседница.

Лейла повторила.

На этот раз пауза была короче. Она уже не проверяла глазами, подействовало ли молчание, и не мешала Рите закончить за неё фразу. Согласие прозвучало легче, почти весело.

Ажан поставила отметку в журнале.

Рита встала, надела браслеты и вышла без обычного разговора у двери. По звону металла Лейла поняла, что застёжка одного не попала в петлю. Очень хотелось окликнуть, помочь. Она не двинулась.

В тетради осталось два варианта одного разговора. Первый заканчивался согласием на большой проект. Второй — оплаченной работой на три дня.

Отметка стояла возле первого.

VI

Тело сопротивлялось не там, где она ожидала.

Она могла сидеть спокойно, пока собеседник сердился, могла не отдёрнуть руку от неожиданного прикосновения, могла улыбнуться без усилия, удерживая в памяти совсем другое. Но после долгих занятий ей иногда хотелось уйти не из класса — из собственного лица.

Однажды Рита дала три роли подряд. Женщина, которая пришла просить отсрочки. Человек, которому должны деньги. Свидетель, не желающий вмешиваться.

Между этюдами меняли только стул и папку. Условия требовалось принять сразу, без времени на подготовку. Лейла хорошо справилась с первой ролью, во второй слишком долго сохраняла просительную интонацию, в третьей перестала отвечать быстрее, чем поняла вопрос.

— Всё, — сказала Рита. — Вернись.

Лейла поднялась и опять села. Рука осталась на краю стола, согнутая в запястье. Она видела её, но несколько секунд не замечала, как затекли пальцы.

— Лейла?

Она ответила голосом женщины из первого этюда:

— Я вас слушаю.

Тишина в комнате изменилась.

Ажан подошла, отодвинула папку и сказала обычным голосом:

— Поставь обе ступни на пол. Посмотри на окно.

Лейла посмотрела. За стеклом была белая ветка, освещённая солнцем, и тёмный след на замазке в правом углу рамы.

— Где мы?

— В малом классе.

— Что сейчас слышишь?

Она различила трубы, шаги сверху, далёкий звук машины. Часы на запястье молчали, пока она не поднесла их к уху.

Ажан дала ей воды, попросила медленно пошевелить пальцами. В кисти закололо.

— Продолжим? — спросила Лейла.

— Нет.

— Я могу.

— Вижу. Сегодня не надо.

Она сидела ещё несколько минут. Рита открыла дверь в коридор; оттуда пахнуло щами и мокрой тряпкой. Запах оказался неприятным, но таким здешним, что Лейла вдруг почувствовала голод.

Вечером её осмотрел врач. Сказал отдохнуть, велел сообщить, если онемение повторится. Два следующих занятия отменили.

На третьем Ажан не разрешила менять роли без перерыва.

— Разделять себя и порученную работу полезно, — сказала она. — Переставать замечать себя — нет. Ты должна знать, что происходит с твоими руками, даже если лицом занята другим.

— А если не хочу знать?

Учительница задержала на ней взгляд.

— Тогда особенно.

Отстранённость, которой она овладела так быстро, имела обратную сторону: можно было перестать замечать то, что вовремя следовало остановить. Себя — своих рук, своей усталости, своего желания выйти. Тело не шумело, и тишина становилась опаснее любой боли.

Она не стала спорить. Тревожило другое.

— Когда я возвращаюсь, — сказала она, — откуда мне знать, что вернулась вся?

Ажан закрыла журнал — медленно, будто это движение давало время подобрать ответ.

— На этот вопрос я не выдам тебе упражнения.

Лейла ждала продолжения. Его не было. Ажан не вставала — а обычно именно вставанием заканчивала такие разговоры.

Лейла посмотрела на свои часы. Трещина на стекле тянулась от края к цифре семь.

— Вы говорили, что можно перестать замечать себя, — тихо сказала она. — И не вернуться.

Ажан подняла глаза.

— Значит, это уже было, — сказала Лейла.

Она не стала заполнять паузу.

— Да, — сказала Ажан. — Это часть профессии.

Она снова замолчала, и Лейла ждала.

— Иногда девушки теряются внутри системы. Иногда уходят из неё. А иногда уходят в себя так глубоко, что обратной дороги нет. Человек возвращается с задания, садится за стол, отвечает на вопросы — и уже никогда полностью не присутствует в комнате, где находится.

Она встала.

Лейла осталась одна.

Что значит потеряться внутри себя?

После ужина она спустилась в пустую кухню и попросила у Нины разрешения почистить яблоко. Та удивилась, дала маленький нож и тарелку. Кожура рвалась неровно, выходила толстой, с мякотью — руки не слушались так, как слушались на занятиях. Под ногтем осталось кислое влажное пятно.

Нина хотела показать, как срезать тоньше. Лейла покачала головой.

Она ела стоя, чувствуя на языке разные части одного яблока: сладкую под кожицей и почти безвкусную у сердцевины.

Пока хватало и этого.

VII

В апреле Ажан позвала её к себе после ужина.

В гостиной топили камин. От поленьев пахло не так, как от дров у крыльца: здесь сухая берёза быстро теряла кору и начинала пахнуть жаром. На столике лежал портсигар. Лейла ни разу не видела, чтобы Ажан курила при ней, но портсигар всегда был поблизости.

— Садись.

Она села не напротив, а немного сбоку. Так можно было смотреть на огонь и не превращать каждый ответ в испытание взглядом.

Ажан заметила выбор, но не поправила.

— Ты помнишь мальчика в саду?

Лейла кивнула.

— Что ты сделала такого, чего не сумела бы сделать Кармен?

— Не знаю.

— Кармен получила бы ответы. Возможно, быстрее.

— Она иначе слушает.

— Как?

Лейла не хотела разбирать Кармен без неё. Посмотрела на огонь и промолчала.

Ажан слегка наклонила голову, принимая отказ.

— Хорошо. Тогда о тебе. У тебя есть редкая привычка не уходить из чужого рассказа, когда он перестаёт быть тебе полезен. Человек замечает это раньше, чем сумеет объяснить себе. Вот здесь и начинается опасная часть. Инструмент, который работает через подлинный контакт, бьёт в обе стороны. Чем точнее ты слышишь человека, тем труднее тебе остаться к нему равнодушной. А равнодушие в нашей работе — не роскошь, а условие. Без него ты начнёшь путать чужую боль со своей.

Лейла почувствовала, что сейчас от неё ждут возражения, и не дала его.

Ажан приняла тишину вместо ответа.

— Представь взрослого человека, у которого есть всё, кроме одного места, где ему не приходится быть тем, кем он обязан быть. Потом появляется такое место. Один разговор. Второй. Он ещё ничего не потерял. Наоборот, ему стало легче.

В топке осыпался уголь. Ажан подождала, пока утихнет треск.

— Дальше встречи можно сделать редкими. Можно дать ему почувствовать, что остальные не понимают. Можно не требовать выбора, но устроить так, чтобы любой выбор без тебя казался изменой самому себе. Он начнёт защищать эти встречи. Сначала временем. Потом ложью. Потом тем, чего ты якобы не просила.

— А если не делать их редкими?

— Есть другие способы. Это не рецепт, Лейла. И человек может не остаться.

Она придвинула к огню носок туфли. На чулке у щиколотки была тонкая спущенная петля.

— Иногда к этому прибавляют влечение. На нашем жаргоне говорят «малиновая ловушка». Название красивее работы. Новички думают, что дело в постели. Обычно там всё начинается гораздо раньше: человеку дают почувствовать, что наконец нашлось место только для него. А потом назначают цену, не называя её ценой.

Лейла слушала, опустив глаза к своим рукам. Ремешок часов был застёгнут на прежнюю вмятину и немного свободен.

— Понимание может быть настоящим?

— Может.

— Значит, он не ошибся.

— В том, что его поняли, — нет.

— А в чём?

Ажан посмотрела прямо на неё.

— В том, что это принадлежит ему.

Лейла подняла запястье, поправила часы. Женщина увидела движение; взгляд скользнул к старому ремешку и вернулся к огню.

— А если я тоже захочу остаться?

Вопрос прозвучал тише, чем она намеревалась.

Ажан не ответила сразу. Провела пальцем по крышке портсигара, но не открыла.

— Тогда ты обязана прийти и сказать. До следующей встречи. Не после того, как попробуешь справиться сама.

— Чтобы его передали другой?

— Прежде всего — чтобы ты перестала решать одна в состоянии, которое меняет твои решения.

— Его всё равно передадут.

— Возможно.

Лейла смотрела на женщину, которая учила её слышать несказанное. Впервые ей казалось, что она слышит слишком много и ничего не может проверить.

— Вы когда-нибудь приходили?

Ажан повернула портсигар гладкой стороной вверх и положила на него ладонь.

— Мы сейчас не обо мне.

Лейла не повторила вопрос.

У двери учительница окликнула её:

— Если начнёшь думать о человеке, когда папка уже убрана, не называй это любознательностью. И не пугайся самого чувства. Пугаться надо того, как быстро ты найдёшь ему служебное объяснение.

По пути наверх Лейла вспомнила, что Ажан так и не сказала, от чего собирается её защитить. От чувства, от человека или от тех, кто заметит его первым.

Часы зацепились за манжету. Она осторожно освободила часы.

VIII

Первую папку ей выдали под расписку.

Не учебную, с карточкой собеседника и ответами в конце, а тонкую серую папку с номером. На внутренней стороне обложки перечислялись вложения. Сведения о человеке занимали две страницы, фотографии — ещё одну. Между ними лежал лист с заданием.

Борис из обеспечения привёз бумаги; фамилии он не назвал. Он сел возле двери и ждал, пока она сверит опись.

— Здесь после третьей сразу пятая, — сказала Лейла.

— Четвёртая вам не выдана.

— Почему?

— Решение руководителя.

— Мне нужно понимать, чего я не знаю.

Он взглянул на Ажан. Та стояла у окна.

— Правильный вопрос, — сказала она. — Но не к нему. На четвёртой — сведения о людях, которые беседовали с этим человеком раньше. Их тебе знать не полагается.

— А если я спрошу о том, о чём его уже спрашивали?

— Такой риск есть. В задании указано, каких тем не касаться. Если они возникнут сами, не развиваешь их по собственной инициативе.

Лейла перечитала лист. Нельзя было расспрашивать о прежнем месте работы и предлагать деловое сотрудничество от имени фонда.

Человеку было двадцать семь. Илья Вадимович Крылов, художник-реставратор, сейчас занимался частным переплётом. В субботу он должен был провести в городской библиотеке открытую встречу о старых книгах. Фонд, от имени которого действовала усадьба, действительно помогал библиотеке: в программе значилась группа из подростковой художественной студии.

Лейла входила в эту группу. Рита ехала как преподаватель.

Имя для выхода дали другое: Наташа. Возраст менять не требовалось. На возможный вопрос об учёбе следовало отвечать: десятый класс, индивидуальная программа. Это было достаточно близко к её настоящим занятиям, чтобы не придумывать школьных друзей и учителей.

— Публичная часть настоящая, — сказала Рита. — Мы действительно собираем ученический сборник. Будут тексты, рисунки, обложка. Ты свои рисунки закончишь к пятнице. Иначе разговаривать тебе будет не о чем.

Задание начиналось после встречи. В библиотечном кафе предстояло установить контакт, выяснить личную причину, по которой Крылов неохотно показывает собственные работы, и получить его инициативное предложение продолжить общение по поводу сборника. Не просить телефон, не добиваться откровенности любой ценой. При отказе закончить разговор.

— Почему именно он? — спросила Лейла.

— Для тебя это учебный выход, — ответила Ажан.

— А для остальных?

— Этого я тебе не сообщу.

Лейла снова посмотрела на пропуск в нумерации. Теперь у него была вполне определённая тяжесть.

В пятницу Рита между делом попросила её рассказать легенду, пока они несли листы из класса. Потом неожиданно попросила назвать фамилию учительницы математики. Лейла уже приготовилась ответить и остановилась.

— Я занимаюсь индивидуально. Зачем вы спрашиваете?

— Хорошо. Не заполняй каждую пустоту выдумкой. У тебя и без этого будет что забывать.

Перед отъездом проверили не только бумаги. Лейла застегнула пальто, прошла от двери до машины, достала кошелёк, убрала его. Всё, что понадобится в городе, должно было лежать так, чтобы не пришлось искать. Рисунки положили в жёсткую папку; на нижнем листе Рита карандашом написала свой рабочий номер.

— Если разделимся, идёшь к стойке библиотеки и просишь позвонить сюда. Не ищешь меня по городу.

За воротами Лейла поймала себя на знакомом ощущении: усадьба исчезала за спиной, а правила продолжали ехать рядом.

IX

В библиотеке пахло мокрыми пальто и нагретой бумагой.

Илья оказался выше, чем на фотографиях. От старого ожога на шее к воротнику тянулся светлый рубец; в папке этой подробности не было. Говорил он негромко. Когда в заднем ряду начинали переговариваться, не повышал голос, а прекращал объяснение. Сначала Лейла приняла это за приём, потом увидела, что он просто ждёт, пока сможет продолжить без усилия.

Он показывал книгу, у которой корешок когда-то укрепили грубой тканью. Объяснял, почему хороший ремонт не всегда тот, которого не видно, и почему нельзя превращать старую вещь в новую только ради аккуратности.

Лейла слушала без необходимости изображать интерес.

На странице возле шва остался отпечаток пальца. Ей захотелось узнать, старше ли он заплаты. Илья сказал, что не берётся утверждать наверняка, и она почувствовала к нему благодарность за простое отсутствие уверенности.

После встречи люди сгрудились у стола. Кто-то достал домашний молитвенник, кто-то снимал крупным планом его инструменты для реставрации. Лейла осталась возле витрины. Под стеклом лежал раскрытый альбом с выцветшими засушенными растениями; от одного осталась только тонкая тень на бумаге.

— Это не от времени, — сказал Илья рядом. — Растение вынули. След остался.

Она подняла глаза.

— Давно?

— До меня. Здесь в старой описи уже написано: «Утрата».

Лейла посмотрела на пустое место. Лист казался не пустым, а занятым отсутствием.

В кафе она пришла вместе с остальными. Рита заказала чай для группы; двое младших сели возле окна разглядывать сделанные фотографии. Лейла расположилась у края длинного стола, оставив папку с рисунками на соседнем стуле.

Илья подошёл позже. Рита поблагодарила его за встречу, сказала о сборнике и попросила, если найдётся несколько минут, взглянуть на работы ученицы. Ничего сверх договорённости с библиотекой в этой просьбе не было.

Он сел напротив. Лейла подала папку.

Первые два листа он просмотрел быстро. На третьем задержался, отодвинул чашку, чтобы освободить стол. Там она нарисовала ветку у своего окна — без дома, только ветку и край крыши, по которому сбегала вода.

— Вы это с натуры?

— Да.

Он кивнул. Не похвалил и не стал объяснять, что тут можно улучшить. Рассматривал расстояние между чёрной линией крыши и ветвями.

Лейле понравилось это молчание. На несколько секунд она забыла, зачем они сидят друг против друга.

— В мастерской на Садовой свет лучше? — спросила она.

И сразу поняла.

Адрес мастерской был указан на второй странице папки. Ни на встрече, ни здесь Илья его не произносил.

— Вы знаете мою мастерскую?

Ещё можно было сказать, что видела вывеску. Придумать прогулку. Добавить к первой ошибке обстоятельства, которые потребуют новых ответов.

— Я читала материалы перед встречей, — сказала Лейла. — Перепутала, что вы уже рассказывали, а что нет.

Это было правдой, но не всей. Он услышал только доступную ему часть.

— Материалы?

Рита оторвалась от соседей.

— Фонд прислал справку об участниках программы. Наташа помогала мне готовиться.

Илья кивнул. Папку с рисунками закрыл.

Всё изменилось без единого резкого слова. Он снова стал человеком, пришедшим провести встречу, а она — ученицей фонда, с которым эту встречу согласовали.

Лейла почувствовала горячую досаду. Ей хотелось вернуть прежний разговор немедленно, одним точным движением. Она узнала это желание и положила ладони под стол.

— Спасибо, что посмотрели, — сказала она.

Больше ничего.

Илья ответил, что ветка хорошая. Повернулся к Рите и заговорил о сроках библиотечной выставки.

Лейла пила остывший чай. Младшая девочка у окна никак не могла увеличить фотографию переплёта; та расползалась на квадраты. В кафе принесли поднос с булочками, и запах поджаренной корки смешался с влажной шерстью пальто. Лейла различала всё слишком отчётливо, как бывало после неудачи, когда мысли занимались одним, а чувства оставались без присмотра.

— Это для сборника? — спросил Илья через некоторое время.

Он смотрел на лист, оставшийся снаружи папки. На нём Лейла несколько раз нарисовала одну и ту же руку: придерживающую ветку, лежащую на колене, сжимающую гребень.

— Нет.

— И правильно. Здесь лучше не выбирать пока.

— Почему?

Он поискал слово.

— Потому что вы ещё смотрите. Когда решите, какой рисунок удачный, начнёте повторять его.

Лейла опустила глаза на лист. У одной руки большой палец получился чужим — слишком коротким и широким.

— Этот я уже повторила. Не получилось.

Он улыбнулся. Совсем немного, словно улыбка относилась к чему-то, знакомому ему самому.

— У меня была такая папка. В институте.

Лейла не спросила, где она теперь.

Он отломил кусочек булки, покатал мякиш между пальцами и положил на блюдце. Руки у него были сухие, с гладкими ногтями; во время встречи именно они делали всё то, что он объяснял словами.

— Потом рисунки перестали помещаться в неё, — сказал он. — Не потому, что их стало много. Листы стали больше. Показывать было неловко. В маленькой папке — наброски, в большой уже как будто утверждаешь о себе что-то.

Она посмотрела на его ладони, потом на лицо.

— А вы хотели только смотреть.

Илья задержал взгляд на ней. Не удивился точности, не открылся сразу — проверил, не следует ли за этой фразой другая, приготовленная.

Лейла ничего не добавила.

Ей не требовалось его удивление. Она действительно знала разницу между тем, чтобы увидеть, и тем, чтобы предъявить увиденное на оценку. Последние месяцы всё, что ей удавалось, немедленно становилось основанием потребовать следующего.

Разговор пошёл не о рисунках. Илья спросил, откуда видно её ветку. Она сказала: из окна. Он кивнул, и на этот раз ответ не пришлось расширять до сведений о месте, где она живёт.

Потом заговорил о своём отце. Тот преподавал рисунок, хорошо знал, как должна стоять рука, и мог заметить неверную линию раньше, чем сын заканчивал движение. Илья рассказывал без обиды, с уважением; Лейла слышала, сколько усилия уходит на эту ровность.

— Он ваши работы видел?

— Какие-то.

На этом слове возникла маленькая заминка. Она оставила её в покое.

За соседним столом Рита собирала пустые чашки. До отъезда оставалось сорок минут. Лейла знала это, не глядя на часы, но впервые не стала подгонять разговор к сроку.

— Он говорил: сперва надо научиться, — произнёс Илья. — И был прав. Беда в том, что научиться до конца невозможно. Значит, начинать всё время рано.

Он усмехнулся, словно сердясь на себя.

Лейла вспомнила толстую яблочную кожуру на тарелке. Нина хотела показать, как срезать тоньше. Лейла отказалась — и потом поняла, что отказаться было труднее, чем почистить яблоко самой, пусть и плохо.

— Мне однажды очень хотелось сделать плохо, — сказала она. — Но своими руками.

— Назло кому-то?

— Нет. Просто самой.

Он посмотрел на неё внимательнее. Потом рассмеялся — тихо, без показного веселья.

— Вот это я понимаю.

Она улыбнулась ему. Не искала нужного изгиба рта и не проверяла, смягчились ли глаза. На миг у них оказалось что-то общее, чего не было ни в одной папке.

Илья рассказал про маленькую мастерскую, в которой занимался переплётами. Собственные большие листы лежали там за шкафом, лицом к стене. Он не показывал их отцу несколько

лет. Не потому, что ждал похвалы: мог выдержать и суровый разбор. Хуже было представить, что тот скажет «неплохо» тем спокойным голосом, каким хвалил старательных учеников.

Лейла слушала. Она не пыталась вывести из рассказа причину его ухода с прежней работы — не знала, связаны ли эти вещи вообще. Ей хотелось, чтобы хотя бы на время большие листы перестали быть обвинением тому, кто их нарисовал.

— Странно, — сказал он наконец. — Вы ведь ещё учитесь. А я вам тут такое рассказываю.

Она не ответила, что возраст ничего не значит. Ей было шестнадцать. Она просто осталась сидеть, не пряча услышанное за улыбкой.

Он сам отодвинул блюдце и вернулся к рисункам.

— Если решите делать обложку из ветки, оставьте побольше воздуха. Переплёт всё равно съест край. Я могу посмотреть макет, когда будет готов. Через преподавателя пришлите, хорошо?

Рита дала ему рабочий адрес для переписки. Лейла убрала листы.

— Спасибо, — сказала она.

На выходе Илья придержал дверь для всей группы и ушёл в другую сторону, к остановке. В руке у него был плоский бумажный пакет, который он забыл на столе и за которым вернулся. Лейла заметила это возвращение с необъяснимым облегчением: он думал уже не только об их разговоре.

В машине она сняла перчатку и провела пальцем по трещине на часах. В городе быстро темнело. В стекле над уличными огнями проступало её лицо — усталое, без выражения, которое следовало кому-то показать.

X

Ажан читала отчёт утром.

Лейла написала его сразу после возвращения, потом перечитала и убрала три слова: «Он мне поверил». Вместо этого написала, что Крылов рассказал о своих работах и предложил посмотреть макет. Это можно было подтвердить: адрес для переписки он оставил Рите.

Остальное было лишь её собственным пониманием разговора.

— Почему ты не спросила про отца ещё раз?

Ажан не поднимала глаз от листа.

— Он замолчал.

— Могла бы вернуться позже.

— Могла.

— Почему не вернулась?

Лейла посмотрела на серую обложку. В папку уже подшили лист с адресом и краткую запись Риты о встрече.

— Мне хватило того, что он захотел сказать.

Ажан отложила отчёт.

— Для чего хватило?

Вопрос был точным. Лейла не стала притворяться, что не поняла.

— Для задания. Причина, по которой он не показывает работы, не обязательно связана с прежней работой. В папке эти два факта стояли рядом. Я сначала решила, что они связаны. Он этого не говорил.

— Хорошо. А теперь — адрес мастерской.

Она рассказала, что произошло. На бумаге всё заняло три строки, в памяти — намного больше: закрывающаяся папка, изменившийся взгляд, желание немедленно поправить впечатление.

— Ты вышла из легенды. Справка была у преподавателя. Ученица могла её видеть. Ты использовала правдоподобное объяснение и не стала придумывать ничего лишнего, — сказала

Ажан. — Но то, что объяснение нашлось, не делает ошибку допустимой. В другом месте тебе просто перестали бы отвечать. И имели бы на это все основания.

— Да.

— Рита вернула тебя в разговор. Отметь её участие отдельно.

Лейла взяла ручку.

— Она не вернула. Она объяснила, откуда у меня сведения. После этого он со мной не говорил минут двадцать.

Ажан посмотрела на неё поверх листа.

— Тем более отметь. Не записывай чужую помощь как собственное решение. И восстанови последовательность. Здесь между двумя абзацами у тебя исчезло время.

Они вернулись к отчёту. Стало видно, что почти треть встречи ушла на последствия одной фразы. Полученный результат не отменял этой потери.

Ажан попросила отделить сведения, которыми Лейла владела до выхода, от услышанных в кафе. Потом — вычеркнуть все выводы о чувствах Ильи, не подкреплённые его словами или действиями. Страница заметно опустела.

— Это не значит, что ты ничего не поняла, — сказала она. — Это значит, что другой человек не обязан строить решение на твоём ощущении. Дай ему то, что можно проверить, а своё понимание подпиши своим именем.

— Ты ответила грамотно, — сказала Ажан.

Лейла подняла глаза от листа.

— А правильно?

— Правильно было бы признать: «Я не написала это, потому что не могу доказать. Но я в это верю».

Лейла промолчала.

— Грамотность делает тебя гениальным оперативником, — сказала Ажан. — А способность признать — уязвимым человеком.

Лейла переписала последний абзац.

Ажан прочла его и поставила дату.

— Выход засчитан с замечанием. Самостоятельной работы пока не будет. Полевые стажировки — не раньше восемнадцати, и только после отдельного решения.

Лейла кивнула. Ей хотелось спросить, какие сведения о Крылове уйдут дальше и кому. Но ответ она уже знала: ей не сообщат.

У двери она заметила, что папка с рисунками осталась на столе. Вернулась за ней поспешнее, чем следовало, взяла и только после этого поблагодарила.

Ажан ничего не сказала.

На лестнице Лейла остановилась. В папке между двумя листами лежал кусочек бумаги, на котором ещё в кафе Илья показал, сколько места оставить под переплёт. Ничего личного. Даже подписи не было.

Она провела пальцем по карандашной линии и закрыла обложку.

XI

В мае сборник действительно напечатали.

Двадцать четыре страницы, скреплённые двумя скобами. Ветку на обложке сделали чуть светлее, чем хотела Лейла. Илья прислал замечания к макету: просил не прижимать заголовок к краю и оставить внутренние поля шире. Больше в письме ничего не было.

Рита распечатала письмо вместе с приложением и отдала Лейле: нужно было внести правки в макет.

— Ответишь?

Лейла подняла глаза.

— Можно?

— По работе — конечно. Ты автор рисунка.

Она написала несколько строк: поблагодарила, перечислила исправления, сообщила, когда пришлют экземпляр. Потом долго смотрела на конец страницы.

Ей хотелось спросить, достал ли он большие листы из-за шкафа.

Это было бы естественно — он сам о них рассказывал. Приказа больше не говорить с ним у неё не было; просто не находилось причины, которую можно было бы назвать в письме.

Она могла назвать этот вопрос продолжением задания — проверкой, не изменилось ли его состояние. Ажан нашла бы для такого интереса место в отчёте.

Лейла перечитала деловые строки и отправила их без дополнений.

Через несколько дней пришёл короткий ответ: экземпляр получен, спасибо, удачи со следующими рисунками. На этом переписка закончилась.

Серая папка исчезла из малого класса. Её забрали по описи, как и принесли; Борис проверил количество листов и расписался в журнале. Где она будет храниться дальше, Лейла не знала.

Вечером она раскрыла тетрадь с набросками. Руки, ветка, край крыши. Карандашная схема полей на отдельном клочке.

На последней странице она нарисовала Илью по памяти. Сначала одни руки, потом плечо и наклон головы. Лицо не получалось: всякий раз выходило слишком ясное выражение — будто человек заранее знал, что о нём следует понять.

Она стёрла его, оставив только руки и линию плеча.

За окном шёл дождь. Вода стучала по крыше террасы; выше, в листве, звук был тише и дробнее. Лейла придвинула лампу. От тёплого абажура пахло пылью, от раскрытой тетради — деревом карандаша и слабой горечью резинки.

Часы лежали рядом со страницей. На освобождённом запястье всё ещё чувствовался ремешок, весь день закрывавший узкую полоску кожи.

Она перевернула часы циферблатом вниз, чтобы не смотреть на время, и продолжила рисовать.

Глава четвёртая. Банкир

«Доверие начинается там, где проверку ещё можно продолжить, но уже не хочется».

I

В среду, четвёртого ноября, Лейла получила досье человека, с которым ей предстояло прожить зиму.

В задании зимы не было. Только срок, номер и три вещи, которые нужно узнать. Срок могли сдвинуть, человека заменить. Она сняла защитный лист с первой фотографии и задержалась: большой мужчина сидел на краю низкого кресла так, будто кресло досталось ему по ошибке.

Горобец Андрей Аркадьевич. Пятьдесят пять лет.

На следующих снимках ему было удобнее: за столом, у машины, среди людей. Почти везде люди чуть поворачивались к нему. Но на самом первом он смотрел мимо камеры, придерживая колено ладонью.

К этому снимку она вернулась, прочитав всё.

Олег Ильич ждал на кухне. С первым просмотром не торопил и папку не забирал, пока она не спросит обо всём, что неясно сейчас: потом вопросы пришлось бы гонять через чужие руки.

— Мне нужен его предел? — спросила она.

— Окончательный. Не тот, что обсуждали месяц назад.

— И условия финансирования.

— На какой срок банк связан обязательством. Может ли он в последний день поднять сумму. Всё на первом листе.

Она посмотрела ещё раз.

За фотографиями — схема: доли в двух банках, промышленные компании, речные перевозки. Горобец с группой инвесторов собирался купить долю в терминале под Новороссийском. Продавец отбирал предложения за закрытыми дверями. Одной цены мало: деньги нужно подтвердить, а срок выдержать. Конкурент хотел знать, сколько Горобец действительно может дать и что не даст ему перебить чужую ставку в последний момент.

От Лейлы не ждали ни его подписи, ни доверенности. Только цифр — тех, к которым не подпускали даже своих.

Остальное делали люди без имён в папке.

— Почему не через финансистов?

— И через них работают.

— А если цифры разойдутся?

— Тогда будем искать окончательные. Поэтому мне нужна не только цифра. Дата. При ком сказано. Что было до.

Она кивнула.

До восемнадцати лет у неё были короткие задания: познакомиться, не спугнуть, выйти из разговора так, чтобы человек ничего не понял. Потом контакты стали длиннее. Теперь впервые нужно было войти в чужую жизнь настолько, что работа уже не отделялась от неё дверью.

Второй год она жила в Замоскворечье. Свои книги. Своя чашка со щербатым краем. Коврик у кровати, купленный без спроса. В описи всё это проходило одной строкой.

В досье лежали выдержки из его частных разговоров. Часть — из бесед с врачом.

— Врач знает, что его слова передают?

— Не твоё, — сказал Олег Ильич.

В аналитической справке уже стоял готовый вывод: «Потребность в безусловном признании. Семейная депривация».

Она не подчеркнула.

О жене — полстраницы, и ни одной её фразы: только пересказ. О бывшей спутнице знали больше: квартира, подарки, как часто встречались. Отсюда выводили, что он устал от купленного внимания.

Может быть. А может, сам научился покупать только то внимание, с которым не надо считаться.

— Что с моей биографией? — спросила она.

Олег Ильич открыл второй конверт.

II

Лейла Соколова существовала раньше, чем понадобилась Горобцу.

Под этим именем она готовила подписи к двум частным каталогам, ездила в Петербург сверять архивные ссылки, писала короткие тексты о русском пейзаже. Писала сама; редактор правил без жалости. Абзац о Саврасове вернул с пометкой: «Вы картину описываете или себя?»

Она абзац вычеркнула. Теперь была за него благодарна.

По бумагам ей двадцать восемь. На деле — двадцать два. Шесть лет не спрячешь в платье и не прибавишь голосом: их нужно заполнить работой, о которой умеешь говорить. Поэтому из биографии убрали чужую диссертацию и должность в учреждении, куда могут позвонить. Оставили частные заказы, публикации, профессию искусствоведа без постоянного места — достаточно определённо, чтобы разговор не расплывался, и достаточно свободно, чтобы не собирать свидетелей по кабинетам.

Проверку это не отменяло. Подтверждения подготовить можно. Заставить людей её помнить — нельзя.

В четверг консультант по живописи показал три картины. Одну назвал неверно и ждал, заметит ли она.

Лейла поправила.

Он протянул снимок оборота холста:

— Здесь я не уверен. Что скажете покупателю?

— Что не уверена.

— Покупатель хочет купить.

— Тогда тем более.

Он кивнул, но заставил объяснить, чего именно не хватает для уверенности: размера, истории владения, разницы между авторской датой и поздней надписью. До обеда она разбирала то, что вкусом не заменишь.

Вечером примеряла платье — старое золото, закрытые запястья, свободная шея, ткань не нужно одёргивать. Села. Подол не пополз вверх. Прошла по комнате с сумкой. Если весь вечер следить за платьем, на человека внимания не хватит.

Духи сначала нанесла на бумажную полоску. Через час сладкое ушло, остались сухая роза и дерево. На коже запах оказался теплее. Взяла совсем каплю.

Перед сном позвонила Ажан. Рассказала о задаче — без фамилии и цифр.

Ажан долго молчала.

— Не становись ответом на всё, чего ему не хватило, — сказала она. — Таких замечают первыми.

— А если совпадение настоящее?

— Тогда не объясняй ему, как вам повезло.

Лейла смотрела на «Корабельную рощу» над низким шкафом. Купила репродукцию ещё до этой квартиры; ночью сосны казались темнее.

После звонка сняла рамку и убрала её между папками. На обоях остался светлый прямоугольник.

Своё лучше не оставлять на виду. Хотя именно своё, ей уже объяснили, могло сработать лучше всего.

III

У Корсакова ей сразу не понравилась развеска.

Маленького зимнего Саврасова повесили в проходе: кто-нибудь откроет дверь — и свет пропадёт. Шишкина унесли в угловую комнату. Оба были в списке картин, которые ей предстояло знать, но по снимкам она представляла их крупнее.

Заранее придуманную расстановку пришлось выбросить из головы и пройти по комнатам заново.

У входа стоял флакон антисептика, которым почти никто не пользовался. Корсаков посмотрел на Лейлу, протянул руку — и тут же спохватился, кивнул. Он её уже видел: летом она делала справку для его каталога. Попросил позже посмотреть подпись под одной из картин и ушёл к гостям.

Она осталась у Шишкина.

Это была не уменьшенная «Корабельная роща». Свет здесь земли почти не касался, а внизу так густо сплетались сухие ветви, что ногу поставить было некуда. Ей это нравилось. В репродукциях лес обычно приглашает войти. Перед этим холстом хотелось остановиться.

Она почувствовала его появление раньше, чем услышала имя.

В большой гостиной ещё продолжали говорить, но разговор возле двери уже изменился: одна фраза осталась недоговорённой, другая началась с чуть избыточной бодростью; человек, до этого спокойно рассуждавший о перевозке картин, вдруг заговорил короче. Словно в знакомую мелодию вступил низкий инструмент, и все остальные невольно подстроились под него.

Лейла не обернулась. Смотрела на освещённую полосу соснового ствола, чувствуя, как за спиной собирается новое, более плотное внимание. Потом услышала: «Андрей Аркадьевич» — и тихий ответ, от которого слова приветствовавшего сделались громче, чем требовалось.

Он был здесь.

Ей хотелось увидеть его сразу, сопоставить живое лицо со снимками. Она позволила этому желанию пройти, не исполнив его. Неподвижность не требовала усилий: лес перед ней был настоящим, и в нём оставалось на что смотреть. Задача существовала рядом, не заслоняя холста.

Горобец задержался у входа. Отвечал кому-то, слушал, опять отвечал; он её пока не замечал. Потом в узком просвете между дверью и чьим-то плечом она увидела его профиль. Он прошёл к Саврасову, наклонился к небольшой картине и отступил, когда кто-то встал рядом. На фотографии он казался тяжелее. В жизни грузности не было — была привычка не расходовать силы без необходимости.

Лейла смотрела на него только тогда, когда он не мог встретить её взгляд. Не выхватывала подробности одну за другой: позволяла живому человеку постепенно вытеснить знакомый снимок. Тёмный костюм сидел свободно в плечах, но у шеи воротник был тесен. Когда собеседник заговорил слишком близко, Горобец не отстранился — чуть повернул голову, сохранив между ними прежнюю вежливость. Потом улыбнулся чему-то, и лицо неожиданно помолодело. Этой улыбки в досье не было.

Первый раз он посмотрел в её сторону, проходя мимо угловой комнаты.

Он замедлил шаг. Лейла заметила это и не стала превращать в знакомство. Осталась перед картиной. Сейчас он мог увидеть профиль, тёмные волосы над открытой шеей, спокойную линию плеч; она смотрела не на него. Ему ещё предстояло самому захотеть увидеть её лицо.

Через несколько минут он снова оказался в проёме — рядом с другим человеком. Тот что-то рассказывал, касаясь пальцем собственного колена. Горобец слушал внимательно, задал вопрос. На этот раз его взгляд задержался на ней дольше. Лейла почувствовала его почти физически, как чувствуют близость ладони, ещё не коснувшейся кожи.

Она могла обернуться. Одного встречного взгляда хватило бы, чтобы дать ему повод подойти. Но тогда он получил бы привычное подтверждение: его заметили, его ждут. Гораздо важнее было не отнять у него любопытство поспешным ответом.

За её спиной прошли двое гостей. Один сказал вполголоса: «Кто это у Павла?» — и ответ утонул в звоне бокалов. Лейла не вслушалась. На холсте под нижней веткой оказался тонкий рыжеватый мазок; издали он терялся, но вблизи именно он не давал тёмной земле слиться в плоское пятно. Она чуть склонила голову, пытаясь понять, как он сделан.

Когда Горобец подошёл, она уже не ждала шага в определённую секунду.

Сперва рядом стало теплее. Потом пришёл запах улицы, шерсти, негромкого горького одеколона. Он остановился справа, оставив достаточно места, чтобы она могла уйти, не обходя его. Не заговорил сразу. Смотрел на картину.

Лейла дала ему это молчание. Между ними стоял лес, а не необходимость произвести впечатление друг на друга. Она слышала его дыхание и отдалённый голос хозяина; в этой небольшой неподвижности впервые за вечер не было ни приветствия, ни вопроса о делах.

— В репродукции здесь всё пропадает, — сказал он.

Она повернула голову.

Теперь он увидел лицо. Янтарный цвет глаз в этом свете казался почти тёмным; только возле зрачков оставалось тёплое золото. Лейла не улыбнулась заранее, не сообщила взглядом, что встреча удалась. Рассматривала его с тем спокойным, чуть замедленным вниманием, под которым человеку трудно отделаться приготовленной фразой.

— Вы видели репродукцию этого этюда?

Вопрос был настоящим. Она искала репродукции для каталога и могла пропустить полезный источник.

Он взглянул на раму, потом на неё и признался, что говорил о Шишкине вообще, а не об этом этюде. Дома у него давно лежал альбом с репродукцией «Корабельной рощи».

— Тогда вы, наверное, лучше меня знаете, что в ней остаётся, — сказала Лейла. — Вы столько лет на неё смотрите.

— Привык.

Она снова посмотрела на сосны. Не стала извлекать из этого слова более благородную причину. И через несколько секунд он сам заговорил о стволах: стоят каждый на своём месте, не стараются понравиться; даже теснота не похожа на суету.

Лейла слушала, чувствуя, как меняется её собственное отношение к человеку рядом. Она готовилась встретить человека, уязвлённого чужим презрением к его вкусам. Здесь, перед холстом, он вовсе не просил защиты. Он показывал ей то, что любил, и в этом было больше доверчивости, чем в жалобе.

Ей захотелось согласиться. Она сама любила эти вертикали, их спокойное упрямство. Но внизу оставались сухие ветви, и от взгляда Горобца они не исчезали.

— Но здесь ведь очень тесно. Посмотрите, сколько внизу сухих веток. Им не хватает света.

Он нахмурился и шагнул ближе к картине. Пауза длилась достаточно долго, чтобы она успела почувствовать риск: можно было закончить разговор прямо здесь, оставив его при мысли, что молодая женщина решила блеснуть возражением. Лейла не стала спасать себя улыбкой. Ждала, пока он посмотрит.

— Вы всегда туда смотрите? — спросил он наконец.

— Куда?

— Что не сразу видно.

Она подумала, не отводя глаз от нижней части холста.

— Не всегда. Иногда на то, что мешает.

Он тихо усмехнулся. Спросил, занимается ли она живописью профессионально. Лейла сказала, что она искусствовед, и вернулась к картине: показала, как свет удерживается между двумя стволами, не доходя до земли. Он проследил за её взглядом. Не победил её в споре и не уступил из вежливости — принял рядом другое зрение. Когда Лейла повернулась к нему снова, его взгляд уже не скользил по лицу: задерживался, возвращался к глазам. Она знала эту перемену. Внешность остановила его; теперь он пытался понять, что находится за ней, и не получал быстрого ответа.

Имя он спросил после небольшой паузы.

— Лейла.

Она произнесла его без фамилии и пояснений. Он повторил негромко, будто примеряя к лицу.

Они поговорили ещё несколько минут. Горобец вспомнил другую вещь из коллекции хозяина, спросил, успела ли она посмотреть. Вопрос был о картине, но Лейла услышала приглашение перейти к ней вместе. Пока она выбирала ответ, Корсаков позвал её из соседней комнаты. Лейла повернула голову, ответила, что сейчас подойдёт, и только потом простилась с Горобцом. Взяла с подоконника сумку. На миг встретилась с ним глазами — уже вне разговора о картине.

— Рада была поговорить.

Он чуть подался вперёд, но вопроса не задал. Она ушла к хозяину, не превращая заминку в возможность задержаться. За дверью пришлось заново настроиться на подпись, о которой спрашивал Корсаков: у неё ещё оставалось ощущение большого тёплого человека справа и его внимательного молчания.

В машине Олег Ильич спросил, как прошёл вечер.

— Он останется у Шишкина ещё ненадолго, — сказала она.

— Почему думаешь?

Лейла посмотрела в боковое стекло. Там поверх огней двигалось её отражение.

— Ему хочется ещё раз увидеть то место, о котором мы говорили.

Подробности она сообщила потом: кто подошёл первым, сколько длился разговор, что он рассказал сам. Не стала называть состоявшееся интересом к её работе. Работой он почти не интересовался.

Корсаков позвонил на следующий день. Спросил, можно ли дать её номер Горобцу, и Лейла услышала за деловым вопросом удовольствие человека, оказавшегося свидетелем чужого начала.

Она разрешила. Горобец позвонил на следующий день, назвал себя полностью, напомнил, где они встретились. Лейла сказала, что помнит.

От первого ужина отказалась: корректуру действительно требовалось закончить. Отказ не сопровождался обещанием непременно встретиться позже. Но после звонка она некоторое время не возвращалась к листам. Вспоминала, как изменился его голос, когда он перестал говорить об искусстве вообще и заговорил о картине у себя дома.

Эту перемену нельзя было вложить в досье. Её хотелось услышать ещё раз.

IV

Лавку в Камергерском она упомянула у Корсакова не случайно.

Там был букинистический отдел, Горобец знал этот переулок, а Лейла работала с книгами из лавки и могла подолгу находиться за прилавком, не изображая покупательницу, которая никак не решится уйти. Дальше всё зависело от него самого. Даже узнав, где её искать, он мог так и не прийти.

На неделе она дважды приходила разбирать издания для каталога. В воскресенье принесла ноутбук и осталась у высокого столика возле стеллажа. Работы было достаточно. Иногда, услышав дверь, она поднимала глаза, но вскоре перестала: ожидание начинало портить её настоящий интерес к тому, что лежало перед ней.

Горобец появился после полудня.

Лейла услышала, как продавец поздоровался с ним знакомым тоном, и не сразу закрыла книгу. Теперь уже не требовалось добиваться встречи. Нужно было не выдать, как много он для неё уже значил.

Он подошёл к стеллажу, взял альбом, перелистал. Она видела, что он её заметил, но пока предпочитает делать вид, будто зашёл сюда по другому делу. Она дала ему эту возможность. Когда он заговорил, подняла лицо с тихой радостью, не спрятанной за удивлением.

— Нашли что-нибудь интересное?

— Одну ошибку в подписи.

Он улыбнулся и попросил показать.

Лейла подвинула книгу. Сведения о владельце перекочевали из соседней записи; она объяснила, почему это видно, нашла второй разворот. Горобец начал слушать с улыбкой, потом наклонился к странице. Ей нравилось, что он не притворяется знатоком. Спрашивал именно о том, чего не понял, и не стеснялся переспросить.

В кафе под лестницей разговор продолжился. Ножку стола подпирал сложенный счёт; Горобец слегка задел её ботинком, стол качнулся. Он поправил бумагу, придерживая чашку Лейлы, и только потом сел. Она успела заметить у него на пальце неглубокий порез.

Они говорили о том, почему в хороших книгах годами перепечатывают одни и те же ошибки. Горобец вспомнил отцовскую рейсмусную колодку. Сначала — как пример вещи, которую перестают замечать, пока она исправно служит. Потом вдруг рассказал, что у бабки на ней стояла сахарница.

— Почему именно там? — спросила Лейла.

— Место свободное.

Он улыбнулся и почти сразу перестал. Вспоминал. Лейла увидела это по неподвижному взгляду, по руке, забывшей про салфетку. Он помнил звук крышки, помнил, как нужно было брать сахарницу, чтобы не задеть торчащую планку, но не мог вспомнить, когда отец оставил инструмент дома.

— И зачем, главное. Он ведь всё обратно на завод уносил. А этот остался.

Лейла не утешила. Слишком хорошо знала, как обидно бывает услышать «неважно» о том, чего сам уже не можешь вернуть. У неё прошлое тоже жило без всякого порядка: исчезали лица, а запах под ухом старой игрушки оставался таким точным, что иногда хотелось протянуть руку.

Она смотрела на Горобца, и воспоминание о лисёнке её не отвлекало. Напротив, делало ближе то место, в котором он сейчас оказался.

Он поднял глаза, словно ожидал вопроса. Она только чуть наклонилась к нему, не сокращая расстояния между их руками. Он мог молчать столько, сколько требовалось.

— Мы ведь думаем, они всегда будут рядом, — сказал он наконец. — Успеется спросить.

Лейла кивнула. Во фразе не было ничего нового. Новым было усилие, с которым произнёс её этот большой, взрослый, привыкший успевать человек.

Он выдохнул и улыбнулся уже иначе — с неловкостью за то, что разговор ушёл не туда, куда он собирался.

— Я вас загрузил.

— Нет.

Она сказала это так просто, что добавлять объяснение было бы неверно. Горобец некоторое время смотрел на неё. Лейла видела, как он возвращается из воспоминания и обнару-

живает, что она не ушла, пока его не было. Её лицо оставалось спокойным, но отстранённости в нём уже не было; тёплый цвет глаз, чуть сведённые брови, неподвижная рука возле чашки удерживали услышанное бережнее слов.

— У вас странная манера слушать, — сказал он.

Она едва улыбнулась.

— Какая?

Он поискал ответ и махнул рукой.

— Потом скажу. Поужинайте со мной в пятницу.

Лейла согласилась.

После его ухода она допила холодный кофе. В профессиональной записи разговор следовало описать как добровольный переход к личной теме. Это было точно и почти ничего не говорило о пережитом.

Лейла раскрыла монографию. На странице под её пальцем была чужая ошибка, которую можно было исправить по источнику. Она долго смотрела на эту ошибку, прежде чем вспомнила, где лежит карандаш.

V

На Малой Бронной Горобец ждал её в глубине зала.

Лейла увидела его прежде, чем он встал: сидел чуть боком к столу, так, чтобы видеть вход. При её появлении выражение его лица изменилось быстрее, чем поза. Он поднялся и пошёл ей навстречу, оставив расстёгнутый портфель на стуле.

В гардеробе не могли найти номерок. Она терпеливо держала мокрое пальто, чувствуя, как холодная ткань касается запястья. Горобец взял пальто у неё из рук.

— Вы давно ждёте?

Он посмотрел на часы.

— Нет. Только что приехал.

Лейла поняла, что он приехал раньше, но не стала притворяться, будто поверила. Улыбнулась ему, и этого хватило, чтобы он перестал торопить гардеробщика.

За столом она снова заметила портфель. Горобец убрал в него бумаги, извинился: работа. Лейла проследила за движением его рук и подумала, что однажды эти же руки не станут убирать от неё ничего. От мысли стало неприятно. Слишком рано было видеть будущую потерю в каждом знаке вежливости.

Она заказала ужин, спросила о вине. Некоторое время разговор держался вокруг её работы; Горобец осторожно пытался понять, как устроена жизнь человека, у которого нет ни кабинета в учреждении, ни постоянного рабочего дня. Лейла отвечала, не вдаваясь в подробности биографии. Рассказывала о деле, которым занималась сейчас. Тут ей не приходилось изображать увлечённость: источники иногда оказывались интереснее картины, ради которой их искали.

Он слушал. Поначалу задавал вопросы как человек, оценивающий собеседника, потом забыл о следующем вопросе и попросил продолжить историю про письмо художника. Лейла почувствовала, как постепенно выходит из-под проверки и становится для него отдельным человеком.

Когда он предложил познакомить её с руководителем музея, она поблагодарила, но попросила пока не звонить.

— Там есть работа, которую мне хотелось бы сделать. Сначала надо понять, что я могу предложить. Иначе вы попросите для меня одолжение, а мне потом придётся с этим жить.

Горобец внимательно посмотрел на неё.

— Вы не любите быть обязанной.

— Люблю понимать, чем именно.

Он усмехнулся и не стал настаивать. Телефон остался в кармане.

Они сидели долго. Лейла не развлекала его, но рядом с ней не возникало обязанности всё время говорить. Иногда она смотрела в сторону, вспоминая слово, иногда возвращалась к тому, что он сказал десять минут назад. В её внимании не было жадности. Горобец всё чаще начинал фразу, ещё не приготовив её конца.

Ближе к десерту он рассказал о поездке, которую они с Ингой откладывали несколько лет. Сам уточнил: из-за него. Лейла запомнила, как бережно он произнёс имя жены и как быстро сменил этот тон раздражением на обстоятельства.

— Она со мной когда-то по общежитиям моталась. Сейчас трудно представить. У неё всегда был вид человека, который просто остановился в неудобной гостинице.

Лейла улыбнулась. В этой подробности жена возникла живее, чем на всех фотографиях из досье.

— А вы?

— А я считал, что всё исправлю. Квартира будет. Дом. Чтобы больше никогда…

Он не закончил. Повернул бокал, посмотрел сквозь вино на свет.

— Исправили? — спросила Лейла.

— Условия — да.

Она услышала разницу. Не спросила о том, что осталось неисправленным. Горобец сам поднял на неё глаза, будто ожидал сочувствия и уже готов был отшутиться. Лейла не посочувствовала ему и не дала повода для шутки. В её взгляде не было жалости к неудачливому мужу. Она увидела человека, который много лет приносил в дом ответы на вопросы, уже успевшие измениться.

Это можно было сказать. Сейчас она не сказала.

У машины он задержал её руку после прощания. Лейла позволила паузе затянуться и только потом подняла лицо. Он смотрел на её губы, потом снова встретился с ней взглядом. Впервые за вечер растерял приготовленные слова.

Она коснулась пальцами его запястья — коротко, под манжетой, там, где кожа ещё сохранила тепло.

— Мне не хочется сегодня прощаться на ходу, — сказала она.

Горобец замер и улыбнулся с таким облегчением, что Лейла сама почувствовала нежность. Они постояли ещё немного. Потом она уехала: оставить вечер незавершённым было важно, но впервые это совпало с настоящим сожалением о том, что он закончился.

Через несколько дней Горобец прислал вопрос о её статье. В каталожной справке владельцем картины был назван другой человек.

Лейла перечитала оба текста, нашла архивное письмо. В одной записи речь шла о посреднике, в другой — о покупателе. Она ответила и приложила публикацию источника. Раздражения не было: человек, к которому она приближалась, умел проверять.

Позже он сам признался, что попросил знакомого посмотреть её работы.

— Не сердитесь, — сказал он. — У меня это уже дурная привычка.

— Мне было бы хуже, если бы вы перестали ей пользоваться из-за меня.

Она не думала заранее, как эти слова прозвучат для неё самой. Горобец услышал спокойную уверенность. Лейла же подумала о границе, через которую уже начала его вести.

VI

В декабре она узнала о нём больше, чем требовалось для следующего шага.

Он не выносил, когда его встречали вопросом «как день»: отвечал «нормально» и замолкал. Зато мог полчаса рассказывать об одном разговоре, если сначала замечали его досаду на конкретного человека. В хорошие дни говорил громче и чаще перебивал. Когда уставал по-настоящему, становился необыкновенно учтивым, будто сам себе не доверял лишнего движения.

Лейла не превращала это в список способов обращения с ним. Он просто начал жить в её памяти целиком, и нужная подробность всплывала раньше, чем правило.

Однажды он приехал сердитым. Поцеловал её в щёку, сел, сразу взял телефон. Она закончила письмо и подошла не с вопросом, а с чашкой чая. Поставила рядом, положила ладонь ему на плечо и осталась на несколько секунд.

Горобец накрыл её руку своей, но взгляд ещё держался на экране. Потом он отложил телефон и потянулся губами к её пальцам.

— Я сейчас не собеседник.

— Я вижу.

Она села рядом с книгой. Он несколько минут молчал, потом заговорил сам. Ей не пришлось разбирать его раздражение на причины и выдавать обратно — он и без неё знал, на кого сердится. Нужно было другое: чтобы рядом с ней можно было не оправдывать испорченное настроение и не заражать им всех вокруг.

На следующей встрече он принёс книгу, о которой она как-то вскользь упомянула. Не подарочное издание — он нашёл именно тот старый том, где ей нужна была иллюстрация.

Лейла провела пальцем по потёртому корешку. Это тронуло её сильнее, чем могла бы тронуть дорогая вещь. Он запомнил то, что его самого никак не касалось.

Пышки она испекла в один из снежных дней. В досье было несколько слов о бабушкиной выпечке; по ним ей предложили варианты теста. Лейла пробовала сама, убрала лишнюю ваниль, сделала пышки поменьше. Горячими завернула в бумагу и сложила в коробку, чтобы не помялись по дороге.

Они сели на скамью с термосом чая. Горобец откусил, немного помолчал.

— У бабки край был такой же, — сказал наконец. — Я всегда сперва объедал. За это и получал.

Он улыбнулся, глядя на неровный бок пышки. Лейла почувствовала, как подробность, которую она готовила специально для узнавания, вдруг перестала ей принадлежать. В этой подробности теперь жил его голос, его кухонное окно, чья-то рука возле сковороды.

— За что получал? — спросила она.

— За то, что выбирал из всех. Каждую надкушу — и обратно. Бабка говорила: «Теперь ешь свои».

Лейла рассмеялась. Он тоже, и этот смех сблизил их больше, чем могло бы растроганное молчание. Взрослый мужчина сидел на заснеженной скамье с горячей едой в руках и вспоминал собственную детскую жадность, не стыдясь нежности к себе прежнему.

Потом он сказал, что у бабушки тесто было плотнее. Лейла запомнила это, но, вернувшись домой, не стала сразу добиваться точного совпадения. Слишком ясно ещё стояла перед глазами его улыбка: ему подарили воспоминание, которое она рассчитывала вызвать, но которое не могла придумать сама.

В личной тетради остался рецепт и короткая пометка о тесте. В отчёт вошло, что семейная тема развивается свободно.

И то и другое было верно. Между этими двумя записями помещалась вся прогулка.

VII

Олег Ильич считал, что сближение идёт медленно.

Лейла видела другое. Горобец уже перестраивал дни, чтобы встретиться с ней; присылал фотографию картины с коротким вопросом; однажды позвонил из книжного магазина и растерялся, когда она спросила, что именно он хотел узнать.

— Ничего, — сказал он. — Вас услышать.

Это прозвучало неожиданно для обоих. Лейла стояла у окна с раскрытой папкой и почувствовала, как дрогнул собственный голос, когда она ответила. Пришлось сесть, чтобы спокойно продолжить разговор.

До бумаг было ещё далеко. Горобец мог быть увлечён и при этом сохранять деловую осторожность. На прямое упоминание терминала ответил однажды коротко: пока рассказывать не о чем. Лейла не приняла это за провал. Он защищал работу привычным способом, а не защищался от неё самой. Ломать эту границу нажимом было бы глупо.

На разборе она сказала об этом куратору.

— Он должен начать говорить о работе сам, — добавила она. — Пока рядом со мной он от неё отдыхает. Если сейчас заставить его возвращаться к ней по моей просьбе, я стану ещё одним человеком, которому что-то от него нужно.

Олег Ильич спросил, сколько времени это займёт.

— До тех пор, пока в его жизни снова не станет важнее обсудить решение, чем отдохнуть от него.

— И ты собираешься ждать?

— Я собираюсь быть тем человеком, с которым он захочет это обсудить.

Он посмотрел на неё, потом согласился дать ей ещё время. Заменить её другой женщиной значило бы начинать всё заново.

Лейла вышла с ощущением, что отстояла правильное решение. Только дома поняла, с какой готовностью превратила нежелание торопить Горобца в профессиональное преимущество. Ажан предупреждала именно об этом: объяснение находится быстрее, чем успевает проявиться чувство, и звучит убедительнее.

В конце декабря он отменил встречу. Дома предстоял разговор, который больше нельзя было откладывать.

Лейла не спросила, о чём. Но и не превратила своё молчание в многозначительную уступку. Сказала, что почитает дома, пожелала доброй ночи.

После звонка она несколько минут держала книгу закрытой. Ей не нравилось, что она знает о чужом доме, в котором никогда не была, слишком много чужого и слишком мало настоящего. Не хотелось представлять Ингу ни холодной женой из сводки, ни препятствием, которое нужно терпеливо обойти.

В январе Горобец заговорил об этом сам. Они с женой не ссорились. Вышло хуже ссоры: выяснилось, что оба давно произносят одни и те же фразы, уже не ожидая ответа.

— Я всё время собирался начать жить чуть позже, — сказал он. — Сначала разгребу одно, потом другое. Она сперва ждала. Потом перестала. А я, оказывается, обиделся, что она перестала.

Лейла слушала. В его признании не было просьбы признать жену неправой. Он сам удивлялся, что понял это только сейчас.

Она взяла его руку и медленно разогнула пальцы, которыми он держался за край дивана. Не сказала, что теперь всё будет иначе. Положила его ладонь на свою и осталась рядом.

Ей было больно за него. И она уже знала, как сделать эту боль частью своей работы.

VIII

В субботу он пришёл к ней домой.

Лейла готовилась без той показной простоты, за которой легко угадать большие усилия. Купила продукты, сварила соус, убрала со стола только то, что мешало ужину. Книгу оставила раскрытой на кресле. Не для впечатления: утром читала, и не хотела превращать квартиру в место, где заранее предусмотрен каждый его взгляд.

И всё же предусмотрела достаточно. Свет не бил сверху в лицо. За столом можно было сидеть рядом, не соприкасаясь локтями. В спальне лежало чистое бельё; на видном месте не было ни одного служебного листа. Последнюю проверку она закончила раньше, чем захотелось поправить ещё что-нибудь.

Горобец принёс вино и груши. Пока он снимал пальто, Лейла смотрела, как в её маленькой прихожей размещается его большое тело: плечи, рука с бутылкой, влажный шарф. Он заметил её улыбку.

— Что?

— Здесь сразу стало мало места.

— Могу уйти в коридор.

Она покачала головой и забрала у него шарф. Не повесила сразу. Подержала, ощущая тепло, оставшееся от его шеи, и только потом отнесла к пальто.

За ужином Горобец несколько раз пытался помочь. Лейла дала ему нарезать хлеб, попросила достать тарелки. Маленькие дела быстро избавили его от гостевой осторожности. Когда он потянулся за второй грушей, уже не спрашивал разрешения.

Они говорили о чтении. Он признался, что покупает больше книг, чем успевает прочесть, и иногда сердится на них за это напоминание. Лейла показала том, который второй месяц лежал недочитанным. Горобец взял его, нашёл закладку, посмотрел на неё с неожиданной мальчишеской радостью.

— У вас тоже.

— У меня много чего тоже.

Он улыбнулся, но книгу из рук не выпустил. Перебирал страницы. На одной увидел карандашный знак, спросил, что она здесь отметила. Лейла прочла несколько строк, потом забрала том: не хотела объяснять вслух собственное чтение.

Он принял эту маленькую закрытость без обиды. Ей понравилось. Можно было не отдавать себя целиком, чтобы быть желанной.

Позже они сидели у окна. За стеклом темнел двор, в стекле отражались лампа и край её лица. Горобец говорил тише, чем в ресторане, словно новая комната требовала другого голоса. Однажды он замолчал на середине фразы и посмотрел на неё.

— Ты знаешь, что делаешь?

Лейла почувствовала, как внутри всё остановилось. Но он продолжил раньше, чем ей пришлось выбирать ответ:

— Сидишь так. Смотришь. А мне уже ничего не хочется рассказывать — только чтобы ты не отворачивалась.

Она поставила чашку.

Вот оно. В отчёте для этого нашлось бы сухое название. Сейчас перед ней был человек, сам открывший, насколько далеко она вошла в его жизнь. И ей не хотелось пользоваться этой его незащищённостью — заставлять его чувствовать себя ещё более беззащитным.

Лейла подалась к нему и поцеловала. Сначала коротко, без продолжения. Осталась близко, чтобы он видел её глаза. Горобец не сразу коснулся её; она почувствовала это удержанное движение и сама взяла его ладонь, положила себе на шею под волосами.

— Не отворачиваюсь, — сказала она.

Он выдохнул, притянул её и поцеловал уже сам.

Лейла умела отвечать так, чтобы человек не искал подтверждения после каждого движения. Умела не спешить, не превращать паузу в отказ, принимать близость без благодарной покорности. Но сейчас ей пришлось справляться и с собственным нетерпением: хотелось скорее узнать его не по словам и не по фотографиям. Хотелось почувствовать, каким становится его лицо, когда он перестаёт его удерживать.

Она коснулась губами виска, провела пальцами по коротким волосам у затылка. Он закрыл глаза. В этой близости седина оказалась не возрастной приметой из досье, а живыми, чуть жёсткими волосами под её рукой.

— Посмотри на меня, — попросила она.

Он посмотрел.

— Мне нравится, как ты меня целуешь.

Она не сказала ни «лучше всех», ни «никогда такого не было». Слова относились только к тому, что происходило сейчас. Горобец услышал их и впервые улыбнулся, не отстраняясь. Лейла поймала эту улыбку губами.

Когда они поднялись, он задержал её за руку возле кресла. Не хотел торопить и не хотел отпускать. Она поняла обе эти вещи по тому, как изменилось прикосновение: рука не вела её, а словно придерживала не заданный вопрос. Лейла повернулась, прижалась щекой к его ладони.

— Идём, — сказала она тихо.

В спальне он остановился у двери. Смотрел, как она вынимает шпильку. Волосы рассыпались по плечам, изменив её лицо; исчезла строгость, к которой он привык за столом. Лейла увидела его взгляд и не стала прятать удовольствия. Позволила ему рассмотреть себя, не обещая за это никакой ответной похвалы.

Потом подошла сама, расстегнула верхнюю пуговицу его рубашки, разгладила край воротника. Под воротником кожа была горячей. Горобец накрыл её пальцы своими, на секунду прижал к груди.

— Лейла…

— Я хочу быть здесь, — сказала она.

В этих словах не было поручения. Она произнесла их и с неожиданной ясностью поняла, что не солгала.

Сказанные слова не делали происходящее дальше невинным. Она продолжала замечать, когда он уходит в заботу о ней, чтобы спрятать собственное смущение, когда ждёт ответа, когда пытается угадать. Иногда останавливала его вопрос поцелуем, иногда сама говорила, чего хочет. Нежность получалась точной, потому что была обращена именно к нему, а не к обобщённому мужчине, которого полагается восхитить.

Он назвал её имя ещё раз — почти неслышно. Лейла провела ладонью по его щеке, задержала пальцы у рта. На этот раз сама закрыла глаза первой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.